ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



12 (247) ДЕКАБРЬ 1975

Журнал основан в 1955 году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Виталий
СЕВАСТЬЯНОВ

Из дневника космического долгожителя

«МЫ ПОЗДРАВИЛИ РЕБЯТ С УДАЧНЫМ СТАРТОМ И ПОЖЕЛАЛИ УДАЧНОЙ СТЫКОВКИ, ОНИ НАЗВАЛИ НАС КОСМИЧЕСКИМИ ДОЛГОЖИТЕЛЯМИ...»

(16 июля 1975 г. Среда, 55-е сутки полета. Разговор с «Союзом»)

Эти короткие записи я обычно делал перед сном, примостившись в переходном отсеке нашей станции, около иллюминатора. «Салют-4» плывет над Атлантикой, над Африкой, а я, зафиксировав на коленях тетрадку и найдя локтю опору, вывожу в дневнике неровные буквы. Я не сразу научился писать в невесомости — первое время все наши движения были недостаточно координированы.

Иногда, отпустив ручку и позволив ей свободно плавать около тетрадки — ручка была на резинке, которую я прищепкой крепил к тетрадке, — я смотрел в иллюминатор. Так превешься, подумаешь — и опять берешься за ручку. Писать ею, кстати, было очень удобно — стоило лишь без всякого нажима дотронуться до бумаги. Пасту выталкивал сдавленный воздух.

Я собирался вести дневник с первого дня полета, но поначалу меня хватало лишь, чтобы сделать перед сном необходимую запись в бортовой журнал. Но на четырнадцатые сутки полета я собрался, наконец, с силами и принялся за дневник.

6 июня 1975 г.

14-е сутки полета.

СЕГОДНЯ МЕДИЦИНСКИЙ ДЕНЬ

...Вот мы и обследовались целый день: в покое и при нагрузке (на велоэргометре и с использованием вакуумных костюмов)... Самочувствие обоих хорошее. Так определили с Земли медики. Мы тоже так оцениваем свое состояние.

Сегодня наблюдали совершенно удивительное явление — ПЫЛЕВУЮ БУРЮ. Тянулась она на несколько сотен км.

А перед тем, как подойти к Аралу, находясь где-то над Прагою, наблюдал слева всю Балтику, справа — все Черное море и вся Турция, Каспий весь, Волга вся и Поволжье, а сзади вся Европа — от Пиренеев и Англии. Видно половину Италии.

Петр на мой крик восторга приплыл в переходной отсек и был поражен этим чудом МАКРОВЗГЛЯДА. Да, это чудо!



7 июня 1975 г.

Суббота, 15-е сутки полета.

АСТРОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

...Земля нам сегодня сказала, что мы пролетели что-то около 9 миллионов км. Много! Но это очень мало, если, например, летишь на Марс.

Пройдет время, и кто-нибудь вот так же, как и мы, пойдет на космическом корабле к Марсу. Земля так же с напряжением будет следить за полетом, помогать, управлять. Но в полете они будут ОДНИ, будут оторваны от Земли и медленно, медленно (сутки за сутками) с громадной по земным понятиям скоростью они будут лететь к Марсу.

Мне, вероятно, уже не придется участвовать в этом полете. Состарюсь. Но... Вот бы потопать по Марсу!

12 июня 1975 г.

Четверг, 20-е сутки полета.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Ждешь его долго, проходит он мгновенно.

Проспал я сегодня 13 часов, не просыпаясь. Проснулся с щемящим чувством грусти. Мне приснился ДОЖДЬ — там, на Земле.

— Петя, а ты помнишь шум дождя? — спросил я.

— Забыл уже,— сказал он и задумался.

Я в ближайшем сеансе радиосвязи с Землей рассказал им о дожде. Они отреагировали просто:

— У нас вчера здесь прошел такой хороший дождь, грозовой, что и сегодня им пахнет.

Да, не скоро еще придет время, когда мне удастся помокнуть под дождем.

До чего удивительна земная природа, до чего она разнообразна в своих проявлениях! Вот и дождь есть, и мороз, солнце и жара, и осень.

А здесь все не так.

Сегодня на иллюминаторе, обращенном в сторону от Солнца (мы шли в ориентированном полете), я увидел кристаллики льда на внутренней поверхности среднего стекла. Эти кристаллы были совсем иные.

Они были асимметричны — с центральной каверной, похожей на кратер вулкана. И вообще были похожи на инвалидов из чудесного мира земных кристаллов.

Выглядели какими-то пауками-циклопами.

Петр Климук ступил на Землю первым. Его переодевали, а я в это время еще возился с бортовыми системами корабля. Потом и я вышел. Тут нас и сфотографировали. Это наш первый снимок после посадки.

И я вспомнил наш снег, нашу РУССКУЮ ЗИМУ, натертые снегом щеки, пьянящий воздух — это не здешняя смесь газов...

И захотелось домой.

Я подавил это чувство и вновь стал исследователем. Взял бортовой журнал, зарисовал все это чудо-страх, позвал Петра, и мы сфотографировали эти кристаллы. Мы спешили, потому что уже поворачивались на Солнце, и они должны были вскоре растаять.

Затем мы с Петром прибирали нашу станцию, наш дом. Наводили порядок, пылесосили, чистили, включили все противопыльные фильтры. Петр пытался ездить на пылесосе, но тяга его оказалась малой.

Земля нам в честь выходного дня подбросила эксперимент со связью, и пролетел наш выходной, как будто его и не было.

Сегодня случайно кто-то из нас сломал в нашем «Оазисе» лук... Мы съели его. Удивительно вкусный. Острый.

Пища наша нам несколько приелась.

Я думаю, что на Земле нам больше будет нравиться земная пища...

Сейчас бы вареной картошки с молоком!

Да!.. Потерпим!

13 июня 1975 г.

Пятница, 21-е сутки полета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

...Утром я сделал зарядку — проехал на велоэргометре от Южной Америки до Владивостока, благополучно преодолев Гималаи.

Вечером прошел пешком с перебежками от Лос-Анджелеса до Лиссабона и не заметил даже шторма на Атлантическом океане...

Где это на Земле можно вот так, ложась спать, выбрать себе романтическое путешествие на завтра?

А здесь можно! Здесь все можно! Можно заснуть в одном месте, а проснуться в другом.

И так бывает.

20 июня 1975 г.

Пятница, 28-е сутки полета.

СНОВА ДЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Снова испытания новейших приборов и систем.

Сегодня мы проверяли новый метод солнечно-планетной ориентации и новый прибор, автоматически выполняющий эту ориентацию.

Сначала я сориентировал станцию на Луну и звезду. Затем мы включили прибор. Потренировали его. Настроили и передали ему управление. Он стал выдавать управляющие сигналы. Но как-то неуверенно. Мы еще раз настроили его, и он заработал отлично. Проверили во всех режимах. Всю информацию передали Земле.

Сегодня я заметил, как сильно изменился вид нашей планеты за этот только месяц. Где-то зазеленели поля, которые раньше чернели свежей пахотой, где-то идет уборка урожая полным ходом. Видно, как на полях появляется паутина дорог,— это свозят зерно на обмолот.

Сегодня наблюдал Канаду. Богатая страна, колоссальных природных ресурсов. Много болот, но много и лесов. И вот видно, как человек строит города и поселки. Видны вырубки, и просеки, и дороги, и площадные вырубки. Как вырубка — то поселок или городок. Все они связаны хорошими дорогами между собой и с большими дорогами. Видны типовые поселки. И что интересно, раньше человек селился около рек и на берегу рек основал все свои крупные города. Это и сейчас заметно. Нужно сказать, что из космоса реки видны прекрасно. Сейчас города строятся вдоль шоссейных и железнодорожных магистралей. Это очень заметно в Канаде. Это относится даже к маленьким поселкам — они лепятся к вспомогательным дорогам.

Да! Я уже соскучился по Земле, по людям, по моим близким и родным!

Неделю назад, как я уж писал, мне приснился дождь. Самый обычный дождь. Но я слышал во сне его шум. И этот шум везде преследовал меня. Наблюдая мощный циклон над Африкой, я представил, что вот там сейчас идет дождь — тропический ливень, гроза. Нет, это не то. А вот наш мягкий, летний, теплый, ласковый дождь! Тра-та-та-та-та...

А вчера мне приснился воробей. Самый обычный воробей. Сидит на пыльной дороге и что-то ищет на пропитание. Я обхожу его осторожно стороной, чтобы не вспугнуть, а он посматривает на меня, эдак перескакивая, поворачиваясь, провожает меня и делает свое дело. Потом встрепенулся и улетел... Я даже, кажется, вздохнул во сне.

Сегодня я поймал себя на мысли, что я давно не слышал топота шагов. Мы же здесь не ходим, а плаваем. И вот на встречных курсах, если заняты делом, так тихо расходимся, что воспринимать движение другого можешь лишь зрительно.

Да, плаваем над полом, по которому никто никогда и не ходил и ходить не будет. Но он — пол. Условность! Одна из тысяч условностей, к которым привык человек.

Я вообще-то довольно редко вижу сны, но один свой сон до сих пор помню.

Я был уже принят тогда в отряд космонавтов. Жил в районе Ленинского проспекта и вставал очень рано, чтобы сначала на автобусе, потом на метро и, наконец, на электричке успеть к началу рабочего дня в Звездный городок.

И вот мне снится, как я вскакиваю с портфелем в автобус, а водитель объявляет, что машина следует только до Ленинского проспекта, ибо он временно перекрыт для движения — встречают какого-то иностранного гостя. Но моя станция метро — «Проспект Вернадского» — по ту сторону Ленинского. Что же делать, чтобы не опоздать в Звездный?

Тут я вспоминаю, что вчера вечером, когда я на автобусе возвращался с работы, в одном из дворов я видел козу. Мысль работает быстро: сейчас, не доезжая одной остановки до Ленинского, я сойду и посмотрю, там коза или нет. Если найду ее, все в порядке. Выскакиваю из автобуса, бегу в этот двор и вижу свою козу. Она стоит и выжидательно на меня поглядывает.

— Выручай,— говорю, — я опаздываю на работу. Ты можешь перевезти меня через проспект, который сейчас перекрыт.

— Садись, — говорит коза.

Я быстро снимаю пиджак, брюки, рубашку и все это аккуратно складываю в портфель. И, оставшись только в трусах и майке, сажусь на козу, а портфель вешаю ей на рога.

— Ну, поехали!

Коза медленными шажками топает в направлении проспекта, и, наконец, мы упираемся в толпу, которая стоит на тротуаре, ожидая высокого иностранного гостя. Забыл сказать, что я сижу на козе задом наперед, что окончательно приводит толпу в восторг.

А мы спокойно себе выезжаем на проспект и пересекаем его не прямо, а, развернувшись сначала

на осевой линии, как это делает автобус. Затем я заворачиваю в какой-то двор, спрыгиваю с козы и быстро одеваюсь.

— Спасибо,— говорю я своей спасительнице. — У тебя не будет проблем на обратном пути?

— Не беспокойся. Меня пропустят через проспект — я же коза.

Я прощаюсь с ней и бегу к станции метро «Проспект Вернадского».

Как раз в то время, когда мне приснился этот сон, журнал «Москва» печатал «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова (синий однотомник Булгакова, вышедший до этого, я уже, кажется, знал наизусть). Думаю, что, начитавшись Булгакова, я и увидел такой фантастический сон...

21 июня 1975 г.

Суббота, 29-е сутки полета.

СЕГОДНЯ ДЕНЬ АСТРОФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Снова работаем с РТ-4 (рентгеновский телескоп) по двум рентгеновским источникам. Получили очень интересные результаты. Нам сообщили, что источник «Геркулес Х-1», который долгое время молчал, сейчас вновь заработал, и мы его исследуем. Мощность его излучения оказалась намного больше, чем раньше была. Мы получили удовлетворение.

Сегодня исполняется 4 недели со дня нашего отлета с Земли. Да, хотя это звучит странно — «отлет с Земли», но это так.

Мы постоянно летим, летим и летим. И хотя Земля — вот она, рядом, и летим мы вокруг нее, все-таки мы улетаем с Земли. И нам предстоит еще возвращаться на нее. А сейчас мы в полете. И вот отлетали уже 4 недели. Сегодня наша станция «Салют-4» совершила 2 800 оборотов вокруг Земли.

Петр тоже, видно, соскучился по Земле. Сегодня Земля передала, что погода у них теплая, хорошая. Петр их и спрашивает:

— А вишня у вас есть?

А потом мне:

— Вот бы ящик вишни сейчас, Виталий! Съели бы?

— Съели бы,— уверенно отвечаю я.

А сам я подумал о нашей черешне в Сочи, которую я посадил 25 лет назад. И которой дед с бабушкой каждый год балуют Наташеньку. И говорю Петру:

— И черешня наша в Сочи уже поспела.— Но тут же поправляюсь: — Уже отошла.

Вспоминаю, что сочинские дед и бабушка присылали черешню в этом году Наташе в пионерлагерь. Это было в самом начале полета. Мне об этом передавала с Земли Аленка.

Да, летит время!

22 июня 1975 г.

Воскресенье, 30-е сутки полета.

ДЕНЬ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ

Мы посвятили этот день фотографированию Земли. Различные участки территории СССР мы снимали на черно-белую, цветную, спектрозональную и другие пленки различными фотоаппаратами. Работали со спектрографирующей аппаратурой.

Дело в том, что наша орбита не неподвижна в пространстве, она прецессирует (смещается) относительно звезд. Открываются новые районы, которые раньше были в тени. Мы подбираем наиболее благоприятные условия фотографирования и производим картографическую съемку.

Сегодня съемка прошла довольно удачно — облачность почти не мешала.

Мы за работой забыли, что там, на Земле, воскресенье. Все отдыхают. «Едят вишню»,— как говорит Петя. А мы работали.

Пролетая над Африкой в районе терминатора, мы проходили над мощным грозовым фронтом. Молнии сверкали беспрерывно. Наблюдая эти безмолвные сполохи (гром-то до нас не доходит!) на больших глубинах и вблизи поверхности облаков, я пришел к выводу, что они очень похожи на флоккулы на Солнце (флоккулы можно просто представить активной областью на Солнце). Я предложил Земле провести фотографирование грозового фронта на светочувствительную пленку и сравнить с фотографиями флоккул на Солнце.

Над Канадой в тайге мы увидели небольшой пожар. Я бы сказал, что это был совсем маленький источник дыма, если сравнить его с другими пожарами, часто нами наблюдаемыми и в Африке, и в Австралии, и в Южной Америке, и у нас в тайге. Дым от этого пожара случайно стлался в плоскости нашей орбиты. Он вытянулся на две-три сотни километров. Я сказал:

— Смотри, Петя, дым стелется на сотни километров, хотя пожар небольшой. На Земле он не был бы виден так далеко. А отсюда, из космоса, это прекрасно видно.

Действительно, из космоса можно хорошо определить загрязнение природной среды нашей Земли, ее атмосферы, океана, водоемов, лесов, почвы и т. д.

На Земле мало суши и много воды. И будущее человеческой цивилизации во многом связано с мировым океаном, с его ресурсами. Сегодня у Австралии (в заливе Карпентария Арафурского моря) наблюдали два больших косяка рыбы.

И, наконец, сегодня я видел Сочи. Видел в ясную, солнечную погоду. Видел отчетливо порт, видел наш дом. Передал привет прекрасному Сочи и моим родным — отцу и маме.

Скоро ли их увижу?

Трудно поверить — правда? — но я действительно видел из космоса тот маленький двухэтажный домик в Сочи, в котором я вырос и в котором и сейчас живут мои родители.

Как я искал свой дом? Сначала я высматривал на Кавказском побережье мыс Адлер. Река Мзымта, впадая в районе Адлера в море, резко подкрашивает морскую воду своим илом. Это самый точный ориентир. Для привязки я находил Адлер, а чуть-чуть дальше уже видел и Сочинский порт. А прямо по оси от главного причала, чуть выше, у основания телевышки, находил и свой дом. Видел его как маленькую точечку среди деревьев — наш дом окружен кипарисами.

Я вспоминал в тот день и о доме, в котором родился. Он находится в городе Красноуральске. Ровно тридцать четыре года назад — тогда был тоже воскресный день — я стоял на улице около нашего дома, а вокруг было много людей и все повторяли только одно слово: «Война».

Петя не мог помнить этого дня — он родился в сорок втором. Петя не помнит и своего отца, который погиб в сорок четвертом...

Да и я, признаться, день начала войны — мне тогда было около шести лет — помню все-таки смутно, но зато отлично помню, как спустя три дня отец отправлялся на фронт. Он работал шофером на полуторке и уезжал на войну вместе со своей машиной. Отец и два его брата загнали свои перекрашенные в защитный цвет (цвет войны!) машины на открытую платформу, а к платформе была прицеплена теплушка и в теплушке — нары лесенкой. Я забрался на самую верхнюю полку, и,

когда поезд, маневрируя, дернулся, я слетел на пол и набил себе шишку. И помню, как отец прикладывал к моему лбу алюминиевый солдатский чайник с холодной водой.

Всю войну мама работала в пошивочной мастерской — шила телогрейки и ватные штаны, из лоскутиков которых сшила и мне ватничек. В этом ватничке я пошел в сорок третьем в школу.

Отец возвратился только в декабре сорок пятого. Ему было тридцать пять лет, и он уже был совершенно седой. А дядя Федя, который служил с отцом в одной танковой бригаде, не возвратился с войны...

Вскоре родители перебрались в Сочи и поселились в том окруженном кипарисами домике, который я маленькой точечкой видел из космоса.

23 июня 1975 г.

Понедельник, 31-е сутки полета.

СЕГОДНЯ ОПЯТЬ МЕДИЦИНСКИЕ СУТКИ

Прошли спокойно, мы даже не очень устали. Мы уставали примерно первую неделю полета. Еще была, конечно, адаптация, первые дни.

Но главное иное — мы не умели работать в невесомости. Затем мы обрели опыт и стали все делать сноровистее. Даже перемещаться по станции стали побыстрее, а иногда, как хороший водитель-лихач, даже с небольшим риском набить шишку. Вот тут мы стали работать лучше, с интересом, быстрее.

Главный бич для нас — сон! И даже не сон, а режим дня! У нас просто дурацкий режим дня: каждые сутки он смещается на полчаса. Вот завтра я должен встать в 12 часов ночи по московскому времени. Не можем мы привыкнуть к этому распорядку и мучаемся. Он хорош для управления полетом и для работы с Землей, но для нас он никак не подходит. Надо будет на Земле как следует в этом разобраться.

(Я постоянно указываю в дневнике наши рабочие, орбитальные, сутки, которые были на полчаса короче земных. Поэтому у меня и получается 65 полетных суток вместо 63-х календарных).

Нужно обязательно улучшить подготовку космонавтов по географии, геологии, океанологии, метеорологии. Нужно иметь профилированные кабинеты по этим предметам. А то будешь путать Японию с Тайванем, а Байкал с Балхашем. Но у нас уже сложилась устойчивая логическая связь географических районов на Земле по трассе полета. Вот я только что пролетел через центр Африки и вышел южнее Мадагаскара на Индийский океан. И уже знаю, что дальше я пройду южнее Австралии над Тасманией (удивительно красивый остров!), далее над островами Фиджи в Тихом океане и выйду к американскому городу Портленду (посередине между Сан-Франциско и Сиэтлом), пройду над США и Канадой и подойду к Африке в районе Зеленого Мыса.

Когда пролетали через Африку, был поражен: ГОРИТ САВАННА! СОТНИ ПОЖАРОВ видны сразу. И стелется дым по ветру, превращая зелень в пепел. Даже душу защемило. Ведь это видишь всюду на Земле, каждый день. Правда, не такие массовые пожары, но каждый день.

Как лайнер в океане сопровождают чайки, так нас постоянно сопровождают «светящиеся частицы». Светятся они очень ярко в момент нашего выхода из тени, и светятся те, что несколько сзади нас. Их блеск постоянно падает, и на дневной стороне орбиты их не видно (за редким исключением). А когда (через виток) мы уходим из тени вновь, они снова рядом. Конечно, это уже не те частицы, а другие. Только что проходили Атлантический океан — от острова Ньюфаундленд до Канарских островов. Исключительно хорошо видны течения в океане, ВИДНО ДНО ОКЕАНА В РАЙОНЕ МЕЛЕЙ. Чудо просто! Как будто я смотрю на дно с причала...

Посмотрю еще Африку и спать.

24 июня 1975 г.

Вторник, 32-е сутки полета.

ДЕНЬ ОТДЫХА

Итак, месяц позади. Месяц полета. Это тяжело...

Человек часто делает только шаг, даже не зная, сможет ли он сделать второй. НЕИЗВЕСТНО! Нет никаких данных. Нужно пробовать — проверять действием, не расчетом, а практикой.

Это и есть испытание. И здесь есть риск. Риск оказаться в тупике.

Но такой шаг, если он удачен, очень многое дает науке и человечеству.

И человек всегда будет делать шаг вперед, а потом еще шаг, а затем еще...

Вот и нам предстоит сделать шаг. Нам летать еще месяц.

Два месяца в космосе. Это очень сложно. Но я уверен, что мы сделаем все, чтобы завершить полет благополучно и доставить интересные и ценные научные результаты.

Сегодня, пролетая над Атлантикой в районе Канады, я вел связь с экспедиционным судном АН СССР «Космонавт Юрий Гагарин». Связь там ведет мой товарищ Дмитрий. И вот он спрашивает меня, что я вижу.

— Да что вижу? Полмира справа, полмира слева. Вот и весь мир на ладони!

Земля! Ох мала!

25 июня 1975 г.

Среда, 33-е сутки полета.

Сегодня — 500 витков!

ДЕНЬ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СССР

Целый день фотографировали и для геологов, и для географов, и для строителей, и для сельского хозяйства, и т. д.

Фотографировали Камчатку, Сахалин, Хабаровский край, Приморский край, БАМ, Байкал, Алтай, Восточную Сибирь, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Туркмению, Кубань, Украину, Поволжье, Крым и т. д. Все, начиная с востока на запад, потому что у нас так идут витки.

Насмотрелся! Здорово все это, Чудо просто!

Ну кто поверит, что я простым глазом с высоты 365 км могу определить, убран урожай с полей или нет?! Вижу поле, которое уже пересекают дороги,— урожай убран. Это свозили солому в скирды. Вот почему на этом поле появились «пауки»...

Я пробовал зарисовать это поле со скирдами, к которым тянутся дороги, и то, что у меня получилось, напоминало колонию пауков.

26 июня 1975 г.

Четверг, 34-е сутки полета.

СУТКИ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ

Сегодня наши рабочие сутки начались с 00.17, хотя мы встали накануне в 23.10. Первая наша встреча с сушей происходит в районе Вьетнама, затем Китай, Япония, и здесь уже связь с Землей. Пролетаем Камчатку.



Камчатка — вот райский уголок. Из космоса он так же прекрасен, как и там, на Земле. Два года назад мы с Аленкой были на Камчатке. Аленка сказала:

— Теперь я знаю, куда мы уедем жить, когда уйдем на пенсию.

И вот теперь из космоса я приглядывал уголок на океанском берегу для маленького рубленого деревянного домика, обязательно с видом на вулканы — Авачинский и Ключевской.

Выглядят эти вулканы из космоса грациозно и мощно, особенно когда возвышаются над морем облаков...

27 июня 1975 г.

Пятница, 35-е сутки полета.

ТРЕТЬИ СУТКИ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ И СПЕКТРОГРАФИРОВАНИЯ — ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗЕМЛИ

...Амур величав. Богатая низина. Если эту низину немного осушить, она будет кормить весь Дальний Восток.

БАМ должен оживить этот край несметных природных богатств и привести его к новому расцвету.

Весь БАМ я отснял несколько раз на фото разного масштаба. Я понимаю острейшую необходимость в оперативной информации (самой свежей!) о геолого-географических особенностях на трассе. Да и о будущем уже сейчас нужно думать — о сохранении устойчивого динамического баланса воздействия человека на природу.

Нужно сейчас полностью описать динамическую модель природной среды этого прекрасного края и беречь ее.

28 июня 1975 г.

Суббота, 36-е сутки полета.

СУТКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ, ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Эти сутки начались с юбилейного витка. Наша станция «Салют-4» совершила 2 900 оборотов вокруг Земли. А два дня назад мы отметили полгода существования станции, надежность нашей техники высокая. Сегодня уже пять недель нашего полета. Впереди еще четыре недели.

Мы уже так вжились в условия космического полета, что вроде бы так и надо.

Плаваем, прогнувшись, и вытягиваем ноги и шею. Точно как на картине Таира Салахова. Удивительно, как это он почувствовал эту динамику? Перемещаемся медленно. Как правило, перемещение на большой скорости неуправляемо: обязательно влетишь во что-либо и отскочишь. Самое опасное — ДВИЖЕНИЕ СПИНОЙ. Нет глаз, которые меряют скорость и определяют ее направление, нет рук, которые всегда могут подстраховать.

Нужно привыкнуть двигаться медленно. Это трудно, но необходимо. Часто приходится довольно долго

ждать, пока тебя принесет (прибьет) на малой остаточной скорости к какой-либо опоре, оттолкнувшись от которой, ты можешь продолжать свое целенаправленное движение.

Это движение всегда прямолинейно до встречи с другой преградой. Вообще наше движение похоже на полет мухи.

Наша земная привычка — перекидывание предметов в условиях поля притяжения — здесь, в невесомости, дает всегда ошибку в прицеливании ВВЕРХ. Я пробовал много раз и заставил экспериментировать Петю. Результат тот же. Всегда ошибка вверх. Движение всегда прямолинейно и с вращением относительно центра масс.

В МЕХАНИКУ — имеется в виду наука — нужно бы ввести раздел движения предметов в невесомости и в вакууме.

А в ФИЗИКУ нужно было бы ввести понятие состояния тел: кроме жидкости, газа, твердого тела, есть еще смесь «жидкость плюс газ».

Обычно любая жидкость растворяет газ, а в невесомости он образует воздушные фракции, которые могут дробиться на очень мелкие пузырьки. Их собрать вместе очень трудно. И наша кровь сейчас в таком состоянии тоже.

В КРИСТАЛЛОВЕДЕНИИ нужно проводить целые исследования. Кристаллы льда я уже описал. Кристаллы в невесомости должны иметь другую структуру и расти значительно быстрее.

Вообще мир невесомости необычен.

Я несколько раз в условиях пассивного полета, то есть когда станция не управляется, чувствовал воздействие мощного возмущения на станцию: как будто ее кто-то толкает. Это бывает плавно, тихо, в разных направлениях, редко, но четко ощутимо. Однажды я зто зафиксировал, когда мы имели очень точную ориентацию по секстанту на Луну и находились в режиме стабилизированного полета на гироскопах. Сопла не работали, а Луна в перекрестье «просела» на тридцать угловых минут. Все зто — гравитационные возмущения Земли.

Наша невесомость динамична!

29 июня 1975 г.

Воскресенье, 37-е сутки полета.

МЕДИЦИНСКИЕ СУТКИ

Все обследования прошли хорошо. Записи хорошие. Медики довольны. Мы тоже.

Совершенно неожиданно сегодня Земля передала нам записанные на магнитофон письма родных. Я с волнением слушал голоса Аленки, Наташи. Все их новости я несколько раз потом почти дословно повторял про себя. Сидел и молчал. И грустно стало. Соскучился, захотелось домой, на Землю. Петя тоже расстроился, когда услышал голоса Лили и Мишки.

Потом слушал голоса матери и отца. Взволнованы они очень сильно. Но говорили молодцом. Здорово. Лишь бы их здоровье не подвело. Захотелось в Сочи, на море. Искупаться бы!

И вдруг в зто время «Заря» спрашивает меня, как бы я хотел отметить свой день рождения, 8 июля.

Я и ответил:

— Хочу выпить сто граммов водки! И еще хочу, чтобы Аленка собрала всех наших друзей, испекла пироги (а печет она прекрасно), поставила картошки вареной и «микояновской» капусты...

(Наши друзья и соседи, конструктор Иван Микоян и его жена Зина, владеют тайной приготовления совершенно удивительной капусты — это рубленная крупными кусками капуста выдерживается с чесноком, сельдереем, красным перцем, морковкой...)

Чтобы все мои друзья отметили мой юбилей — все-таки 40 лет.

Возраст зрелости.

А вернусь на Землю — повторю день рождения! Соберу всех и выпьем, как водится на Руси!

Люди на Руси необычайной широты души, доброты и честности!

Я все делаю во славу РУСИ!

2 июля 1975 г.

Среда, 40-е сутки полета.

АСТРОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЕРЕБРИСТЫЕ ОБЛАКА

Вчера вечером и сегодня мы наблюдали еще одно чудо природы — серебристые облака. Эти облака находятся на высоте 60—70—80 км. Природа их полностью неизвестна. Во многом они загадочны. На всей Земле их наблюдали не более тысячи раз.

И вот мы наблюдаем их в космосе. Эти наблюдения проводятся впервые. Мы действительно первооткрыватели. Тщательно наблюдаем, записываем, надиктовываем на магнитофоны, зарисовываем.

Земля приняла зкстренное решение: разрешить нам в тени Земли провести ориентацию станции в сторону восхода Солнца и, обнаружив серебристые облака, повести их исследование спектральной аппаратурой и фотографирование.

Мы все выполнили с успехом.

Очень довольны мы, довольна и Земля. Сегодня говорили с «Рубином-2» — зто Константин Петрович Феоктистов. Он в зтом полете один из руководителей программы работ. Он доволен результатами. Мы же обещали стараться.

Серебристые облака завораживают. Холодный белый цвет — чуть матовый, иногда перламутровый. Структура либо очень тонкая и яркая на границе абсолютно черного неба, либо ячеистая, похожая на крыло лебедя, когда облака ниже «венца». Выше «венца» они не поднимаются.

«Венец» — зто светящийся слой повышенной яркости вокруг Земли на определенной высоте над ночным горизонтом. Иногда он лучится...

Лучистый венец нашей голубой планеты!

4 июля 1975 г.

Пятница, 42-е сутки полета.

ВСПЫШКА НА СОЛНЦЕ

Вчера в разговоре с нами Константин Петрович Феоктистов сказал, что звонил академик Андрей Борисович Северный, предсказывает вспышку. Мы тут же высказали желание поработать с ОСТ-1, хотя сутки у нас были выходные.

И вот сегодня поработали хорошо. Результат должен быть. Некоторые зкспозиции резко отличались от зкспозиций спокойного Солнца.

Сделали две зоны на Солнце. Я очень устал. Буквально валюсь с ног. «Валюсь» — зто по-земному. Здесь свалиться с ног нельзя. Здесь можно просто заснуть в любом положении. Однажды подобный случай со мной произошел. Я проводил медицинскую пробу на велоэргометре. Вращал пять минут педали, имея определенную дозированную нагрузку. Естественно, при зтом я был пристегнут ремнями. Затем я пять минут должен быть в спокойном, расслабленном состоянии. Пишется телеметрия, передается информация на Землю. И вот в эти пять минут я умудрился заспуть. Я просто плавал и спал. Руки мои были просунуты в лямки привязной системы, которая была расстегнута, поэтому я никуда не уплыл. Поза моя была обычной для невесомости — поза «рахита»:

шея втянута, грудная клетка поднята, руки перед собой согнуты, позвоночник изогнут, колени согнуты и разведены, в бедре ноги согнуты, пятки — вместе, носки — врозь...

6 июля 1975 г.

Воскресенье, 44-е сутки полета.

ИСПЫТАНИЯ ПРИБОРОВ

Сегодня опять проводили испытания нескольких приборов. Работа эта интересная. Ты являешься иногда участником создания прибора от идеи до испытаний: сначала наземных, а потом вот и в полете. И, конечно, получаешь удовлетворение, если этот прибор продолжает долго жить — летает на всех кораблях.

Сегодня «Заря» передала нам привет от «Алмазов» — Леонова и Кубасова. Они уже на СТАРТЕ (так мы по привычке называем космодром, или еще его иногда называют «ТП» — техническая позиция, подчеркивая тем самым, что там ведутся испытания техники, в отличие от «СП» стартовой позиции). Эти названия остались нам в наследство от первых послевоенных испытательных стартов ракет, от Сергея Павловича Королева и его коллег.

Да, ребята сейчас волнуются там в ожидании старта. Осталось ведь меньше десяти дней. Мы передали им привет и пожелания успешного старта. Они сейчас, конечно, думают лишь о старте. А мы сейчас подумываем и о спуске. Уже! Вообще-то еще рано думать о нем. Но сегодня я как-то «аналитически» подумал о спуске — серьезном предстоящем испытании и вдруг почувствовал, что мы настолько привыкли к нашему теперешнему положению, что чувствуем себя вполне спокойно.

А вот спуск — дело другое, новое! Динамика. Да и как встретит Земля? Как мы будем себя чувствовать там? И вдруг где-то слабенько мелькнула трусливая мысль: а может, здесь остаться... может быть, оттянуть спуск... попросить еще месяц... вдруг дадут согласие?..

Нет! На Землю! Домой!

Я понимал разумом, что не имею права на эти сомнения, но космонавт — живой человек... Суть в другом: наша работа такая, что учишься преодолевать минутные сомнения.

7 июля 1975 г.

Понедельник, 45-е сутки полета.

СЕРЕБРИСТЫЕ ОБЛАКА

Выходной наш, как всегда, был в работе. Вдобавок мы выпросили у Земли разрешение поработать по серебристым облакам. Работа прошла успешно. Мы очень довольны. Возможно, получили интересные результаты.

...Несколько дней мы пролетали Аргентину ночью и в сумерках. А сегодня — днем. И вдруг я увидел, что на юге Аргентины выпал снег: и в горах в районе озера Вьедма, и в долинах, на берегу океана. Да, снег! Там зима! Снег ярко-ярко блестит!

Сегодня наблюдал Огненную Землю и Магелланов пролив — в облачности.

Вот бы совершить кругосветное путешествие по морю!

Мне хотелось бы побывать на Таити — увидеть вблизи лесистые склоны потухших вулканов, зеленые лагуны, окаймленные белыми коралловыми рифами. Кораллы и из космоса ослепительной белизны.

А в бухте Боке Которска на Адриатике, которая так пленила меня с высоты, я, вернувшись из полета, уже побывал. В сентябре я ездил в Югославию, был в Дубровнике, а эта — самая красивая на всем Средиземном море бухта — находится километрах в ста от Дубровника. И я специально отправился в Боку Которску на машине и объехал всю бухту.

А в октябре, будучи в Мексике, я побывал и в бухте Акапулька, которая тоже восхищает из космоса. Эта тихоокеанская бухта глубоко врезается в сушу, окаймлена красивыми горами, а после мексиканской пустыни смотрится просто райским уголком.

В Мексике я побывал и на пирамидах тольтеков. Я поднялся на пирамиду Солнца и окинул взглядом пирамиду Луны и другие пирамиды долины. Только высокоразвитая цивилизация могла оставить такие памятники. Но ради чего — и как! — были воздвигнуты эти пирамиды?

8 июля 1975 г.

Вторник, 46-е сутки полета.

МОЙ ЮБИЛЕЙ — 40 ЛЕТ

Да! Мне исполнилось сегодня 40 лет. Странно подумать, что я прожил уже 40 лет. Вроде бы еще совсем недавно я ходил в детский сад, в школу. И вот где-то засмотрелся на жизнь, она и помчала. Вчера — 20, сегодня — 40. Бац — и нет 20 лет!

Ну а если взглянуть по делу — вроде бы кое-что сделано. Совершаю второй полет, опять длительный.

Вот это и будет мой отчет жизни за 40 данных ею лет. Дала бы еще хотя бы двадцать, успел бы еще кое-что сделать. Планы есть!

Сегодня Земля побаловала меня: передала несколько поздравительных телеграмм из дома, от друзей, несколько раз звонили мне домой, передали мою магнитофонную запись (мое послание Аленке и Наташке) по телефону. Сегодня передали по радио для нас концерт, в котором участвовали Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Тамара Синявская. Спасибо вам, мои друзья, я рад встрече с вами!

Мне передали, что около десяти вечера в нашем доме было 27 человек гостей... Молодцы, друзья! Веселитесь.

Вот вернусь, соберу вас еще! Бедная Аленка, досталось ей опять!

Наташка, я целую вас с мамой.

Среди поздравлений, полученных мною в тот день, была телеграмма из редакции журнала «Юность». Мои друзья из «Юности» не только поздравляли меня с сорокалетием, но и напоминали, что моя первая публикация после первого полета в космос появилась на страницах «Юности», и выражали пожелание, чтобы традиция была продолжена. Я подумал: а почему бы и нет? — и, возвратившись на Землю, принес страницы этого дневника в «Юность».

10 июля 1975 г.

Четверг, 48-е сутки полета.

ДЕНЬ ОТДЫХА. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА

Да, да! Сегодня на нашей станции опять день рождения! На этот раз — у Пети. Ему исполнилось 33 года. Возраст Иисуса Христа. Хороший Петр парень. Мне повезло, что я пошел в этот трудный полет именно с ним. Мы готовились к полету вместе с Петром. И нужно сказать, что вся эта очень трудная подготовка прошла успешно. Вот и полет проходит спокойно.

Я поздравил Петра. Молодец, Петя. В 33 года уже второй полет в космос.

Сегодня мы выпили с ним за его здоровье сока и элеутерококка (витаминная настойка).

Потом я спросил:

— Так зачем, Петя, летит человек в космос?

— Нужно,— ответил он.

Этот наш разговор имеет предысторию. В журнале «Огонек», где в апреле этого года я напечатал статью «За тридевять земель», Петя, отвечая на тот же вопрос, говорит: «За счастьем».

11 июля 1975 г.

Пятница, 49-е сутки полета.

ОПЯТЬ ИССЛЕДУЕМ РЕНТГЕНОВСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Вчера работали опять с РТ-4. Работали с ручной ориентацией с переходами по трем источникам. Земля сообщила, что получили уникальные результаты...

А вчера мы разговаривали вновь (второй раз) с нашими женами и детьми. Я уже соскучился по Аленке и Наташке.

Наташа рассказала мне, что у нас дома появилась новая собачка: чихуахуа Икар-Икки. Это подарок из Югославии. Икар родился 24 мая — в день нашего старта...

Три года назад мы с Аленкой были в Югославии, в доме у одного из наших друзей увидели поразительную собачку по имени Снуппи. Маленькая ушастая Снуппи была ласкова и умна. Оказалось, что собак этой породы—чиувава (чихуахуа) — в мире осталось очень мало. Изображения чиувавы найдены еще на древних мексиканских пирамидах и на глиняных сосудах из ацтекских храмов и гробниц. Словом, чиувава — это священная собака индейцев древней Мексики.

Наш югославский друг сказал, что скоро ему пришлют дочку Снуппи — Хайди, а когда у нее родятся щенята, одного из них он обязательно нам подарит. Но шло время и, разуверившись получить чиуваву, мы завели черного пуделя, назвав его в честь ушастого мексиканца Снуппи.

И вот оказалось, что, когда я взлетел в космос, в Югославии (от Хайди и голландца Эскуберо) родилась маленькая гладкошерстая чиувава, которая по этому случаю была названа Икаром. В международном Клубе чиував, который находится в Бельгии и в который я уже вступил, моя собачонка полностью именуется так: Икар Космический.

А в начале июля, когда я был еще в полете, наш югославский друг прилетел в Москву и привез в меховой шапке маленького Икара.

Наш Снуппи сначала сторонился Икара, но сейчас они подружились, вместе играют, и Снуппи нисколько не обижается, когда Икар таскает его за хвост.

15 июля 1975 г.

Вторник, 54-е сутки полета [1].

«СОЮЗ» — «АПОЛЛОН» НА ОРБИТЕ

Ура! Наши коллеги и друзья на орбите: летают три корабля и семеро космонавтов. Опять «великолепная семерка».

[1] 12 июля миновало 49 земных суток со дня старта, но по нашему, орбитальному исчислению шли уже 51-е сутки. И я сделал 12 июля две записи: за 50-е и 51-е сутки. Так что 15 июля для меня это не 53-и, а уже 54-е сутки полета.

Да, три года весь мир ждал этот полет. И вот этот день пришел. Мы с волнением следили сначала за стартом Алексея Леонова и Валерия Кубасова, а затем за стартом Томаса Стаффорда, Вэнса Бранда и Дональда Слейтона. Я их всех хорошо знаю. Встречался с ними и в США, и у нас в СССР, и в других странах. Все они отличные ребята, и я желаю им удачи.

Ждем их стыковки.

Сегодня я несколько раз шарил глазами по небосводу и по Земле — хотел их увидеть, хотя отлично знаю, что сегодня это сделать невозможно. Вот через несколько дней, может быть, такая возможность появится. Посмотрим!

Земля готовит на эту тему нам целеуказания. И вообще она нас все время держит в курсе событий у ребят. Позывной у них стал не «Алмаз», а «Союз», а корабль — «Союз-19». Наш корабль — «Союз-18». «Аполлон», по-моему, тоже носит номер 18 [2]. Так что на орбите:

«СОЮЗ-18», «СОЮЗ-19», «АПОЛЛОН-18».

Интересно было бы поговорить с ними. Послушать их мы сможем, если близко сойдемся.

У нас программа идет своим чередом: сейчас целый день потратили на кинофотосъемки. Нужно привести людям удивительную картину НЕВЕСОМОСТИ, ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОСЕ.

Вот и маялись целый день на съемках, работая по очереди то оператором, то режиссером, то актером.

Думаю, получится хороший фильм!

16 июля 1975 г.

Среда, 55-е сутки полета.

РАЗГОВОР С «СОЮЗОМ»

В очередном сеансе связи руководитель полета вдруг нам говорит: «Есть возможность поговорить с «Союзами». Мы, естественно, обрадовались.

Это было на нашем первом витке, на восходящей ветви орбиты. Они же проходили на нисходящей ветви пятого витка. Над СССР между нами было расстояние 300—700 км. Говорили мы через Землю, хотя Земля в волнении молчала. Все мы тоже волновались ужасно. Хотя ведь знаем друг друга уже более десятка лет, а все-таки волновались.

Мы поздравили ребят с удачным стартом и пожелали удачной стыковки. Они назвали нас космическими долгожителями и передали нам приветы с Земли.

Алексей Леонов рассказал, что перед отлетом на космодром он с Мишей Климуком (сыном Петра) ходил на рыбалку: поймали карпа п о р т о л а килограмма (Миша так говорит — «портола»). Все это происходило на пруду в Звездном городке, на берегу которого стоит наш профилакторий.

Ребята сегодня ремонтировали один ТВ-блок. Ремонт прошел успешно.

Мы хорошо знаем, что такое ремонт.

Мы говорили шесть минут — с 20.04. до 20.10. Пожелали друг другу счастливого полета и разошлись до новой встречи.

Наши американские коллеги тоже имели некоторое затруднение при разборке стыковочного узла. Но все сделали хорошо.

[2] О т р е д а к ц и и: корабль «Аполлон», использованный в программе ЭПАС, порядкового номера не получил.

Ждем стыковку «Союза» с «Аполлоном». Мы-то знаем, что это такое — стыковка. Мы стыковались в сложнейших условиях, ночью и вне зоны радиовидимости, полностью самостоятельно. Станция была чуть-чуть подсвечена Луной. Нужно ее обязательно сфотографировать и заснять на кинопленку при расстыковке. Нужно попросить разрешение Земли на зависание после расстыковки.

17 июля 1975 г.
Четверг, 56-е сутки полета.
СТЫКОВКА «СОЮЗ» — «АПОЛЛОН»

Итак, стыковка прошла успешно! Прекрасно! Земля нас информирует постоянно о том, что делают «Союзы» и что делают американские астронавты.

А у нас программа идет своим чередом. Сегодня делали эксперимент «Фреон» — очень интересный и важный технический эксперимент. Земля передала, что у нас дома были корреспонденты газет. Наташка заявила, что она ничего не хочет, кроме одного — скорее бы папа вернулся домой. Да, Наташа, и я соскучился по вас: по тебе и по Аленке. Сейчас уже скоро.

Скоро придет время, и мы вернемся на Землю!

19 июля 1975 г.
Суббота, 58-е сутки полета.
ПРОГРАММА СОВМЕСТНОГО ПОЛЕТА «СОЮЗ» — «АПОЛЛОН» ВЫПОЛНЕНА

Да, сегодня они расстыковались и вновь состыковались. Полетали еще вместе и расстыковались окончательно. Каждый корабль стал выполнять свою программу.

Мы тоже выполняем свою программу. Нужно сказать, что она уже подходит к концу. Сегодня наш рабочий день был знаменателен тем, что мы начали консервацию станции, то есть некоторые системы и оборудование мы уже использовать не будем. Вот мы и приводили его в надлежащий вид и в исходное состояние.

Сегодня кое-что уже уложили в спускаемый аппарат. Потихонечку надо обживать его, и скоро пойдем домой.

На Землю!

В этот день мы передали на Землю телерепортаж, в котором оплакивали «трагическую» гибель нашей любимицы Нюрки. Дело в том, что программой медико-биологических исследований нашего полета был предусмотрен эксперимент по размножению мух-дрозофил (новое поколение дрозофил можно получать через каждые двенадцать суток). И действительно, в «Биотерме», где содержались эти требовавшие тщательного ухода мушки, их уже было к середине полета сотни полторы. Но к концу полета по непонятным для нас причинам дрозофилы вдруг стали дохнуть.

Последнюю, оставшуюся в живых представительницу космического поколения дрозофил мы звали Нюркой, но пришел день, и шустрая Нюрка тоже перестала шевелиться. Когда же мы возвратились на Землю, то выяснилось, что две, как нам казалось, сдохшие дрозофилы обнаруживают признаки жизни. И обе эти мушки (самцы) тут же попали под бережную опеку академика Дубинина.

21 июля 1975 г.
Понедельник, 60-е сутки полета.
ПОСАДКА «СОЮЗА-19»

Сегодня шестидесятые наши рабочие сутки в космосе. Вчера Земля нас «обрадовала»: оказывается, наша посадка переносится на один день позже, то есть на 26 июля. Это в связи с тем, что завтра, 22 июля, мы работаем совместно с экипажем «Аполлона» — исследуем одни и те же рентгеновские источники, чтобы сравнить результаты и аппаратуру. У них на борту тоже есть рентгеновский телескоп. Мы будем работать обоими своими рентгеновскими телескопами — РТ-4 и «Филин». Мы и рады, что предстоит эта совместная работа и увеличена продолжительность нашего полета еще на сутки — тогда мы все-таки, возможно, наберем свою тысячу витков в космосе... Нет. Точные расчеты показывают, что мы совершим посадку на 992-м витке. Домой хочется!

Сегодня Земля на первых двух витках в связь с нами не вступала. Следила за посадкой «Союза-19», поэтому первое ее сообщение было для нас очень радостным: Алексей и Валерий благополучно сели на родную Землю.

Они прислали нам очень теплую телеграмму.

22—25 июля 1975 г.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОЛЕТА

Все сделано! Выполнено все намеченное. Даже «Рубин-2» (Феоктистов), этот ярый справедливый критик, и то похвалил.

А сегодня разговаривали с «Гранитом» (Владимир Шаталов) и «Соколом» (мой дорогой Андриян Николаев). Оба в хорошем настроении, довольны нашим полетом. Ждут на Земле.

Мы же все эти дни консервировали станцию — готовили ее к автономному полету. На сегодня все сделали, все уложили. Пора спать!

26 июля 1975 г.
Суббота, 65-е сутки полета.
«СКОРО ДОМОЙ, НА ЗЕМЛЮ»

Я помню, что именно так я написал в бортовом журнале в первом своем полете на «Союзе-9». Вчера разговор с Андреем[1] взволновал меня, я вспомнил все отчетливо. Да, трудная наша профессия!

Заснул мгновенно. Спал крепко. Сегодня подъем в 05.25. Ровно в пять проснулся, почувствовал, что крепко выспался, и решил встать, чтобы написать эту страничку.

Итак, полет завершается!

Осталось главное — возвращение на Землю. Я совсем не представляю: как пахнет там воздух, идут дожди, есть длинные ночи, есть много людей, с которыми можно и надо говорить, есть дела, есть эта самая гравитация.

Я привык к невесомости! Мне очень хорошо здесь. А как будет там?

Я привык к виду всей нашей маленькой планеты отсюда из космоса («здесь за горизонтом!»), а что будет там? Я знаю всю Землю наизусть! Мы с Петей уже привыкли играть: узнавать места, над которыми пролетаем. Судьба принесла вчера в подарок встре-

[1] Андриян Николаев.

26 июля 1975 года.

Суббота, 65 сутки полета

„Скоро домой, на Землю".

Я „помню", что именно так я написал в бортовом журнале в первом своем полете на „Союзе-9". Вчера разговор с Андреем взволновал меня, я вспомнил все отчетливо. Да, трудная наша профессия!

Заснул мгновенно. Спал крепко. Сегодня подъем в 05.25. Ровно в пять проснулся, почувствовал, что крепко выспался и решил встать, чтобы написать эту страничку.

Итак, полет завершается!

Осталось главное — возвращение на Землю. Я совсем не представляю: как пахнет там воздух, идут дожди, есть длинные ночи, есть много людей, с которыми можно и надо говорить, есть дела, есть эта самая гравитация.

Я привык к невесомости! Мне очень хорошо здесь. А как будет там?

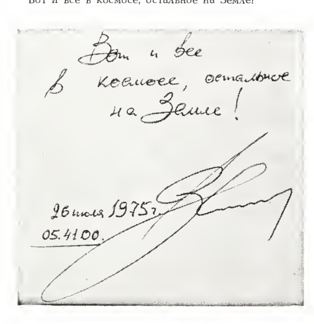
Я привык к виду всей нашей маленькой планеты, отсюда из Космоса („здесь за горизонтом!"), а „что" будет там?

чу с двумя удивительными городами — самыми красивыми на Земле: в прекрасных условиях освещенности мы пролетали Сан-Франциско и Сочи. И сразу вновь захотелось домой. На Землю! Я рвусь туда, я там родился и вырос. Там моя семья, мои любимые Аленка и Наташка, мои старики (бедные мои, сколько я доставил вам переживаний!), там мои друзья.

Но дело мое здесь! В космосе! Вот и грустно мне сегодня уходить отсюда. Когда еще буду здесь?! Буду ли? Может быть, так и доживу остаток дней своих спокойно на Земле? Нет! Я еще приду к тебе, Космос!

Я еще посмотрю на Землю, вот так — нежно и с волнением! А сейчас — на Землю, к людям! Надо рассказать им о Космосе и о Земле! Беречь надо нашу маленькую голубую планету!

Вот и все в космосе, остальное на Земле!



Эту последнюю запись я сделал за 11 с половиной часов до приземления.

Я упоминаю в ней, что меня разволновал разговор с Андрияном Николаевым. Он разговаривал с нами из Центра управления полетом. Говорил, что все средства поиска и встречи подготовлены, и напоминал, обращаясь к опыту нашего совместного полета («Ты помнишь, Виталий?..»), как вести себя на участке спуска и после приземления. Он советовал не спешить, не делать резких движений.

На этот раз мы долго пробыли в невесомости, и у нас были такие опасения, что, приземлившись, мы будем чувствовать себя плохо. Поэтому Андриян и успокаивал нас: дескать, все будет в порядке, нормально. И в то же время он предостерегал: не делайте резких движений, из корабля сами не вылезайте, вам помогут. И я, признаюсь, сразу представил, как нас выносят из корабля на носилках...

Правда, мы помнили, что американские астронавты Джеральд Карр, Эдвард Гибсон и Ульям Поуг, которые более восьмидесяти суток находились на борту орбитальной станции «Скайлэб», после приводнения выбрались из корабля сами и без поддержки прошли по палубе авианосца. Но суть-то в том, что люк их «Аполлона» был открыт не менее чем через час после посадки: пока их выловили в океане, да подняли на палубу авианосца...

А мы вышли из корабля уже через десять минут после посадки. Вышли и чувствую: все в порядке. Тяжело, конечно, страшно тяжело — гравитация давит. Даже опускаешь глаза: не вдавила ли она тебя по колена в землю? И как будто кто-то сидит на тебе верхом. Такое ощущение.

Но носилки-то не понадобились. Сами вышли из корабля!

Через два дня, когда я после обеда спал — по утрам нас тщательно обследовали, а после обеда мы отдыхали, — в комнату вошел врач, который уже много лет рядом с космонавтами. Так вот, входит он в комнату и говорит:

— Виталий Иванович, пора вставать.

А я спросонья смотрю на него пораженно и спрашиваю:

— Ваня, как ты сюда попал?

И мгновенно «привязываю» его к станции: где, в каком отсеке мы находимся? Переходной отсек? Рабочий отсек? Нет, вроде...

Тут он отвечает:

— Через дверь вошел.

Слово «дверь» сразу рождает цепочку: я уже на Земле... на космодроме... Да, но почему он...

И я спрашиваю:

— А почему ты на потолке?

Он ничего не ответил и быстро вышел из комнаты...

А знаете, почему я увидел нашего врача на потолке? Первое время после возвращения на Землю нам трудно было спать в горизонтальном положении — в невесомости привыкаешь, что кровь всегда приливает к голове. И несколько дней мы спали на кроватях, у которых две ножки были подняты, чтобы твоя голова находилась ниже туловища. Сначала нас опрокидывали вниз головой градусов на семь, потом уклон стали потихонечку понижать. Так, постепенно, мы привыкали к земным условиям!

Словом, я чувствовал себя во сне вполне естественно и, приоткрыв глаза и уже осознав земное звучание слова «дверь», тем не менее по привычке «привязал» себя к спальному месту на боковой стенке у самого потолка нашей станции, и дверь таким образом оказалась... под потолком. А значит, и врач вошел через нее по потолку...

Чуть позже врач уже постучал в дверь:

— Виталий Иванович, ты проснулся?

— Проснулся, проснулся. Заходи!

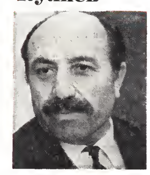
На следующее утро, переходя из одного врачебного кабинета в другой и все еще ощущая, что кто-то сидит у меня на плечах, я остановился в коридоре и непроизвольно подумал: скорее бы к себе, НА СТАНЦИЮ, где нет никого, кроме Пети, где ничто на тебя не давит и можно свободно, раскрепощенно плавать...

Я сказал себе: «Ты что это?» — и решительно открыл дверь очередного врачебного кабинета.

Человек должен жить на Земле, потому что он ее сын.

Кайсын Кулиев





Перевел с балкарского Я. АКИМ

✪

В гнездо я вернулся, в отеческий дом,
Скитаться уставшая птица.
Что ж, память, погрейся над зимним огнем,
Куда нам с тобой торопиться.
Зима. В очаге полыхают дрова,
Стекают смолистые капли.
Что ж, радость и боль, отогрейтесь сперва,
Вы тоже, должно быть, озябли.
Плывут облака, исчезая вдали,
Проходят, как всякая малость.
Вот так и мои испытанья прошли,
Лишь горькая память осталась.
А снег все валит, неуемный, сплошной,
Пластами ложится на крыши.
Что ж, радость и горе, погрейтесь со мной,
К огню придвигайтесь поближе.

✪

Увидев только снега белизну
И просто багровение кизила,
И тем бы счастлив был. Но как светила
Луна, как птицы славили весну!
А чистый голос твой из тишины,
А руки, встретившие на пороге!
Я забывал с тобой мои тревоги,
Всю боль и все мучительные сны.
Весна, как раньше, птицу выпускает,
Белеют горы вновь из темноты,
И женщина опять меня ласкает...
Земля моя, о как прекрасна ты!

✪

От смерти стихи не спасут меня, нет,
И не просил я бессмертья у них.
Лишь разнотравье прожитых лет
Да снегопады в книгах моих.
Ликуя и мучась, я книги писал,
В них души любимых, сияние глаз,
В них птицы, рассветы и мой перевал,
Тропа, где из сил выбивался подчас.
Нет, книги от смерти меня не спасут,
Да я о бессмертье не думал всерьез.
Так дровосек сосны валит в лесу,
В ущелье работает каменотес.

И пахарь не просит бессмертного дня,
И в вечное небо глядящий пастух.
Стихи не избавят от смерти меня,
Огонь потрудился и молча потух.

Стихи, в которых нет ничего нового

Регине КАФРИЭЛЯНЦ

Если другу задумчиво скажем «Кавказ»,
Значит, радостью с ним поделиться спешим,
Мы тоскуем от дома вдали всякий раз
По горам, по высокому счастью вершин.
Дождь идет. Шелестит он
в равнинных лесах,
В темных листьях чинар над моей головой,
Как орлиные крылья, шуршит в небесах
Над громадою гор, ледников синевой.
Здесь, в горах, нас баюкала тихая мать,
Колыбель прижимая горячей рукой,
Облака замирали и плыли опять,
Сакли отчей касаясь косматой щекой.
Только скажем «Кавказ» — и почудится нам,
Будто пасмурным днем снова стало светло.
К молчаливым чинарам и белым горам
Нас с тобой отовсюду недаром влекло.
Нас тянуло туда, где ночами из мглы
Вековечные сказки доносятся с гор,
Зеленеют долины, вершины белы,
И ручьи неустанный ведут разговор.
Где бы ни были мы, у тебя, у меня
Свет Кавказа в глазах, ослепительный свет.
Нет вкуснее воды, нет добрее огня,
Нет родного Кавказа — и радости нет.
Как желанно само твое имя, Кавказ,
Куст багряный и белый цветок алычи!
Алым цветом кизила на лицах у нас
Затаились рассветного солнца лучи.
Да, на солнечных склонах кизил так багров,
Так багров, будто в сердце бурлящая кровь.
Будто все огоньки, что зимою видны,
Загорелись, любовью моей зажжены.
О, любовь эту я пронесу до конца,
Раб счастливый, я цепь, не снимая, влачил.
Эту землю и небо — мои чудеса —
Я в подарок от щедрой судьбы получил.
Ну а если пронзит мое сердце кинжал,
То и он это имя не сможет рассечь.
Оставаясь в горах, среди каменных скал,
Остывая в траве, будет кровь моя течь.
Только скажем «Кавказ»,
сердце ринется ввысь,
И надежда блеснет, если в доме беда,
И покажется —мы на земле родились
Для того, чтобы не умереть никогда.

✪

Как путник бредущий, я звезды любил,
У неба остался в плену.
С ласточкой вместе гнездо я лепил,
В ущелье встречая весну.

Как в древности путник, я пил из ручья
В горах после жаркого дня
И грелся зимой, добредя до жилья,
Как он, у скупого огня.

Морское раздолье и лунная тишь,
Ущелье, дорога и сад,
Джигит на коне, в колыбели малыш —
Я друг вам и преданный брат.

Немало я горя знавал и потерь,
Мелькнувшую радость ценя.
Что «сытый голодного...» — это, поверь,
Сказано не про меня...

Обиды неправедной рану лечил,
Но счастье нашел я свое.
Немало я благ от судьбы получил,
Мне стыдно роптать на нее.

А тот, кому радость не в радость, тот сам
Ничтожен. Избавь меня бог!
Земной красоте, всем ее чудесам
Сполна причаститься я смог.

✪

Рассвет возвещал мне рождение дня,
Снега на вершине белели,
В Чегеме дожди омывали меня
И реки без устали пели.

На этой земле, где немало красот,
Я знал твои тонкие руки,
Глаза твои видел — и плавился лед
И таяла горечь разлуки.

Ни с утренним солнцем тебя не сравню,
Ни с дальней холодной звездою.
Я доброму лишь поклоняюсь огню,
Живущему рядом со мною.

Ты вовсе не ангел. Стираешь белье,
Колдуешь над хлебом и лищей.
Ты — женщина, вот оно, имя твое,
И лучшее имя не сыщешь.

От дома вдали, на чужой стороне
С улыбкой тебя вспоминаю.
Ты вместе с Чегемом мне снишься во сне,
Как первая радость земная.

✪

Гор этих в мире роднее нет,
Здесь мать моя родилась.
С мотыгой во двор выходила чуть свет,
В полдень на солнце пеклась.

Облик, скупые ее слова
В этих горах живут.
И в сновиденьях, где мать жива,
Весны мои плывут.

К матери горы сошлись на пир
В саклю, где я родился.
Вот почему я так полюбил
Горы и небеса.

Молча скала нависла над ней,
В небе звезда дрожит.
Нет этих гор для меня родней,
Мать моя в них лежит.

Агния Барто



Одиночество

Нет, уйду я насовсем!
То я папе надоем:
Пристаю с вопросами,—
То я кашу не доем,
То не спорь со взрослыми.

Буду жить один в лесу,
Земляники запасу.

Хорошо жить в шалаше,
И домой не хочется,
Мне, как папе, по душе —
Одиночество.

Пруд заглохший я найду,
В чаще спрятанный,
Разговоры заведу
С лягушатами.

Буду слушать птичий свист
Утром в перелеске,
Только я же — футболист,
А играть-то не с кем.

Хорошо жить в шалаше,
Только плохо на душе.

Лучше я в лесной глуши
Всем построю шалаши,
Всех мальчишек приглашу,
Всем раздам по шалашу.
Папе с мамой напишу.

Разошлю открытки всем:
Приходите насовсем!

Я часто краснею

Я часто краснею
Без всякой причины.
Соседка спросила:
— Где нож перочинный!
А я перед нею
Стою и краснею.

Не я опрокинул
Чернила на скатерть,
Но чувствую я,
Что краснею некстати.

И даже во сне я,
И даже во сне я
На чей-то вопрос
Отвечаю, краснея.

Вчера мне сказала
Некрасова Лена:
— Краснеть некрасиво
И несовременно.

Не спорю я с нею,
Стою и краснею.

Разлука

Все я делаю для мамы:
Для нее играю гаммы,
Для нее хожу к врачу,
Математику учу.

Все мальчишки в речку лезли,
Я один сидел на пляже,
Для нее после болезни
Не купался в речке даже.

Для нее я мою руки,
Ем какие-то морковки...
Только мы теперь в разлуке:
Мама в городе Прилуки
Пятый день в командировке.

Ну, сначала я без мамы
Отложил в сторонку гаммы,
Нагляделся в телевизор
На вечерние программы.

Я сидел не слишком близко,
Но в глазах пошли полоски.
Там у них одна артистка
Ходит в маминой прическе.

И сегодня целый вечер
Что-то мне заняться нечем!

У отца в руках газета,
Только он витает где-то,
Говорит: — Потерпим малость,
Десять дней еще осталось...

И, наверно, по привычке
Или, может быть, со скуки
Я кладу на место спички
И зачем-то мою руки.

И звучат печально гаммы
В нашей комнате. Без мамы.

Спасибо

В ответ на привет
Не молчит он, как рыба,
В ответ на привет
Произносит: — Спасибо!

Билет на футбол
Вы ему принесли бы,
За это — спасибо,
Спасибо, спасибо!

И если б его
От контрольной спасли бы,
За это — спасибо,
Сто тысяч спасибо!

А если б за ним
Прибежали ребята,
На помощь кому-то
Позвали куда-то:

Ну что ж! И тогда б
Не молчал он, как рыба,
Сказал бы в ответ:
— Удружили! Спасибо!

Думай, думай!

Этот Вовка — вот чудак:
Он сидит угрюмый,
Сам себе твердит он так:
— Думай, Вовка, думай!

Заберется на чердак
Или мчится, вот чудак,
В дальний угол сада,
Сам себе твердит он так:
— Думать, думать надо!

Он считает, что от дум
У него мужает ум!

А Маруся, ей пять лет,
Просит Вовку дать совет
И сказать: во сколько дней
Ум становится умней!

Полный кворум

Дятел, дятел, строгий дятел
Лезет кверху по стволу
И стучит, как председатель,
По столу.

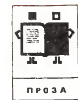
Две синицы просят слова:
Засвистят на свой мотив,
Засвистят и смолкнут снова,
Песню словно проглотив.

На ветвях в зеленых креслах
Целый выводок галчат,
А галчата, как известно,
Ни минутки не молчат.

Улетай отсюда, ворон,
Черный ворон,
Без тебя тут полный кворум,
Полный кворум.

Игорь
ШКЛЯРЕВСКИЙ





ТЕНЬ ПТИЦЫ

ПОВЕСТЬ

Все это промелькнуло, как птица в прожекторе. Изрешеченные светом чинары, клейкие листья, аккуратно изъеденные червями, словно пробитые компостером. Развалины мусульманского кладбища... Стрижи просквозили ущелье, хватая серебристых бабочек-поденок. Шум, рождаемый их полетом, наверное, оглушал каких-то особенно чутких тварей, как оглушают нас реактивные самолеты.

Стрижи ошиблись. Это были искусственные мушки из овечьей шерсти, с острыми крючками внутри. Мальчики, свесившись над пропастью, подергивали лески. Стрижи на лету хватали приманку... Вот мальчик подсек птицу, и она закричала. Маленькая крылатая боль, нет, какая уж там крылатая,— нестерпимая боль заметалась на одном конце лески, а на другом запрыгала, завопила дикая радость. Мальчик, расставив ноги, подтаскивал бьющуюся птицу, ловко сбрасывая леску на землю. Вот еще один жалкий, тоненький крик заметался на леске. Мальчики, как в бреду, палками добивали птиц, вырывали крючки из окровавленных клювиков и, хвастаясь друг перед другом, считали добычу. Они быстро разожгли костер. Так делали их голодные прадеды, и эта уже бессмысленная жестокость вдруг оказалась сильнее сельского учителя.

Наступили летние каникулы. На зеленом холме грустно стояла пустая школа. Я подошел к их первобытному костру, и дети гор выбрали для меня хорошо обжаренного стрижа. Они плохо говорили по-русски. И вообще мы плохо понимали друг друга, поэтому мальчики не стеснялись меня. Они съели стрижей и стали смеяться над своим робким товарищем. Когда птица дернула, он отпустил леску и побежал в поселок. Теперь он оправдывался перед ними. Он доказывал им, что это случилось нечаянно. Он не хотел упускать леску, и ему совсем не жалко этих птиц, но леска проскользнула между пальцев, и он... Он побежал в поселок за другой леской! Да, да, за другой леской. Чтобы они поверили ему, он даже показал им эту леску. У него есть еще одна, кроме этой. Они могут взять эту, совсем новую. Мальчика звали Аширом. Они взяли леску. Он оправдывался перед ними, потому что он был добрее их. Он был лучше их и чувствовал себя виноватым... Отшлепать бы его по щекам! Обжечь его тощий зад крапивой! «Ах ты, дрянной мальчишка, почему ты доказываешь им, что ты тоже плохой?» Но если бы я даже имел право побить его, грустная мысль все равно удержала бы меня: сколько раз я был таким же, как этот мальчик...

Рисунки
И. БРОННИКОВА.

Одноклассники рассказывали мне, как они стали мужчинами. Они врали! Но ни разу не целовавший, я ошарашивал их такими подробностями любви, что они задерживали дыхание.

Почему я столько раз был хуже самого себя?

В прошлом году ко мне на Сож приехали гости из Витебска. Они ели, пили, загорали. В то лето по реке часто плыла мертвая рыба. Когда они отшучивались от моих невеселых слов, почему я чувствовал себя виноватым перед ними? Мы лежали на диком пляже, и они незлобно посмеивались над моей худобой. И все спрашивали, когда я издам толстенькую книжечку. Почему я стеснялся своей худобы, а они не стеснялись своих слоновьих пяток и висячего жира?

Утром птицы оставляли на песке тонкие отпечатки лап. Стриж не садится на дерево — леска не запутается, не оборвется. Она тянется за ним, и другие стрижи сторонятся непонятной птицы. Что ты сделал, Ашир? Зачем ты отпустил леску? Они заклюют его, могут заклевать. Он кричит и пугает, он мешает быть счастливым. Он непонятен — за ним тянется какая-то длинная светлая нитка. Ему больно, и стрижи не знают, что ему надо помочь.

Как хорошо быть не птицей, а человеком!

И все-таки мир должен быть мудрее — даже человек физически не чувствует боль, которую он причиняет другому. Боль даже самых близких мы не чувствуем физически. Только боль очищает. Теплое дерево скамейки, чистый утренний воздух — все дарится заново. Ты постоянно помнишь о том, что живешь. И заснуть, как в юности, невозможно — окно открыто, пахнет смолой, клевером, дождем. Свистнула птица, где-то засмеялась женщина... Ты был у самого края черной ямы. Тебе кажутся смешными твои недавние неурядицы. Ты стоишь в прохладной тени большого старого дерева и слышишь, как неприятность люди называют горем, неурядицу — бедой. Грызутся, мечутся, обижают друг друга; забыли, что они молоды и здоровы, забыли, что живут не вечно, что когда-нибудь их забросают землей... Человек тупеет от боли, из него тянут жилы, его режут, оглушают пантопоном, прокалывают его вены, оставляют в них иглы с трубками, по которым медленно течет в кровь спасительная плазма... И вот земля уже не колышется под ногами... Какая это радость — стоять на своих ногах и не держаться за дерево, за столб. О, этот человек все понимает! И долго еще в душе своей сохранит он чувство благодарности каждому мгновению, каждому безымянному солдату, наспех засыпанному песком где-нибудь на обочине лесной дороги.

Подмосковный осенний лес... Пожилая румяная женщина, заглядывая в траншею, спрашивает у мужа: «Неужели так близко от Москвы была война?»

— А где вы были во время войны?

— В Москве...

Как быстро она все забыла.

Быть веселым и здоровым очень просто — нужно забывать все, что мешает жрать и веселиться.

Москва задыхалась от дыма, под Шатурой горели леса. Забыли погасить костер. Тряпки и банки захватить не забыли. И недоедки в сумку собрали, увезли домой. А костер залить водой забыли.

Милая женщина однажды мне сказала: «Ваш Лермонтов был злодей. Конечно, он великий поэт, но ведь он всех обижал, над всеми смеялся».

В больнице я понял, что самым добрым поэтом был Лермонтов. Он был добрее даже Пушкина.

«Синие горы Кавказа, приветствую вас!»

Я огляделся.

Вокруг меня были горы, и я не понимал их. В ущелье синела вздутая вена сжатой скалами речки. В двух шагах от меня грозно дышала пропасть. Пальцы на всякий случай цеплялись за камни, и жалкая моя мысль цеплялась за подробности, за привычные понятия прошлого. Больничный двор, вздутые вены на ноге больной женщины... Душевая литейного цеха, скользкие бугры мускулов, синие узлы на тяжелых руках... Вздыбленные скалы, застывшее напряжение камня, солнечный желтый лед... Синеватый колотый сахар... Внизу — маленький «газик» и три муравья в сахарнице — мой друг, Вадим и Эмманет. Я не мог постичь какой-то общий смысл этого хаоса и не мог заставить себя принять все как есть; я цеплялся за частности, сползая в пропасть радостного неведения; нет, дело не в земле, не в природе, она разная. Наверное, я хотел и этот мир сделать привычным, найти в пространстве условную точку отсчета, приноровить дикое великолепие природы к одному из своих любимых стандартов, и в то же время я не хотел этого — в меня входили горы, и голова раскалывалась от напряжения. Я пытался понять, но не знал — что именно?!

Я сполз по крутой тропе, нащупывая дорогу ногами и руками. Пальцы скользнули по камню, похожему на голову какого-то зверя. Клыки, глазницы, уши... Я не верю в метаморфозы, никакими мотыльками в этот мир мы не вернемся. Но если бы мы воскресли в облике диких зверей, пожалуй, я стал бы волком, мой друг — вепрем, а Вадим — рысью. А если бы мы превратились в рыб, мой друг стал бы окунем. Он молчун, скрытный человек. Окунь любит стоять в тихих глубоких ямах, он глазастый, тяжелый, сутулый, мясистый. Чешуя у него плотная, крепкая, не соскоблишь. А я жерех — этот стоит наверху, на быстрой струе,— костистая, плоская, очень резкая рыба, но быстро устает. А Вадим стал бы щукой.

Когда мы прилетели сюда, Вадим и мой друг послали телеграммы домой: «Все порядке приземлились...» Они заказали междугородный разговор с другом Вадима, который должен прислать шофера, а я сдавал телеграммы. Мельком глянул на телеграмму Вадима: «Москва... Голубцовой Светочке». Не Светлане, а Светочке. И сразу я его невзлюбил.

В прозе так не делают: сначала покажут человека одной стороной, потом другой — поступки, слова, а из них уже складывается отношение. Но я его сразу невзлюбил, так и пишу. За что? За преднамеренную фальшь — телеграмму все читают, есть чувства, которые этому бланку не доверяются. В дороге он читал нам Заболоцкого, Блока, Баратынского. Он чувствует слово, он понимал, что фальшивит...

А если бы мы стали птицами? Мой друг стал бы аистом, он семьянин. Я кукушкой, я птица вольная. А Вадим, пожалуй, ястребом. Эмманета я еще не знаю. В прошлом году весной я и мой друг ехали на Днепр. «Газик» застрял. Пошли за трактором. В поле у костра стоял пастух. Жаворонок спасался от ястреба и залетел в рукав пастуха. Пастух зажал рукав и, беззубо улыбаясь, осторожно нащупал птицу под мышкой. Он вытащил ее, как будто свое сердце.

Теплый жаворонок трепыхался в его ладонях... Я знаю, о чем думал старик. Я сам об этом думал, глядя в пустое небо. Сразу обо всем и всех жалея.

...Смеркалось. Эмманет сел за руль.

Свет бойко разогнал сумерки, но когда начался подъем, свет иссяк в небе, распылился. А что он мог в этой беспредельности?

Эмманет шутя спросил: «Может, поедем по короткой дороге?» И Вадим ухватился за эту чертову до-

рогу. Мой друг его поддержал. Эмманет покрутил пальцем возле головы. Тогда они назвали его джигитом, мужчиной, орлом.

— По ней мало кто ездит!

— Тем более! Только по ней, а? Зверз!

Эмманет слабел, сдавался.

Вадим подарил Эмманету куртку, обещанную в прошлом году. Эмманет надел черную хрустящую куртку из кожзаменителя.

— Вот так идет колея,— сказал Эмманет и сделал шаг в сторону: — А вот так пропасть. Все время так. Триста километров..

Вадим вспомнил, как он приехал и в первый день поймал сорок форелей. Потом всю неделю шли дожди, и пропадал его отпуск. И он уехал с этими сорока форелями.

Мы переглянулись. Через две недели кончался наш отдых. Меня ждала командировка на Курилы, а мой друг боялся опоздать в экспедицию.

— Едем! — сказал мой друг и топнул ногой. И надел очки. Его взгляд сразу стал твердым, холодным. В горах прошли дожди — дорога расползалась под колесами.

— Резина лысая...

— Мы тоже лысые, вот смотри!..

«Газик» елозил на мокрой гальке, плыл по глине, и тормоза скрипели, пронизывали мозг, как бормашина. Я с детства боюсь высоты. Не могу смотреть с балкона вниз — тянет. Я выбросил окурок, и он полетел в пропасть. Когда я стряхивал пепел, моя правая рука висела в пустоте, она прямо-таки замерзала! Вот дорога взлетает вверх, мы на гребне, а дальше — провал, пустота, но Эмманет круто выворачивает руль вправо, и мы, петляя, катимся вниз. Опять крутой поворот над пропастью, и снова подъем. Взлетаем на гребень, инерция тянет машину вперед. Эмманет с открытым ртом выворачивает руль вправо, и мы летим вниз, дорога неровная, «газик» подбрасывает. Плавно входим в поворот, закладывает уши. Огибаем скалу, впереди — воздух, пустота. Эмманет разворачивает «газик» на сто восемьдесят градусов. Мы вздохнули одновременно. Мой друг закурил и, близоруко улыбаясь, снял очки. Мы все чувствуем, что любое наше слово прозвучит фальшиво. Молчим. Опять жуткий, замораживающий душу спуск и поворот.

— Только на ослах или на лошади...

Слова Эмманета повисают в пустоте. Выплескивая из колеи воду, огибаем скалу. Вписались и в этот поворот. Взлетаем вверх, летим вниз, дорога прямая — несколько минут счастья. Качели! Душа замирает, весело, сладко. Давно я так не любил жизнь. На повороте галька из-под колес летит в пропасть.

— Сколько мы едем?

Вадим смотрит на часы.

— Пятнадцать минут

Кажется, что час... Крутой подъем. Летим, аж воздух завихряется в кабине. До гребня метров пятнадцать, десять... У меня в ладонях теплые чуреки — угостил встречный чабан. Глухой удар по днищу, треск, открытые рты, пустые глаза, вой тормозов. Эмманет хватается за руль, как за раскаленный обруч, руль вырывается из рук мы вылетаем из колеи и каким-то чудом опять попадаем в нее. Он сидит, упершись в педаль, словно хочет удержать «газик». Руки вцепились в руль. «Газик» развернуло, его левое переднее колесо крутится, медленно крутится в воздухе. Стоим... Вылезаем из машины. Если бы рессора лопнула на спуске, скорость выбросила бы нас в ущелье.

Эмманету вылезти некуда: если он откроет дверь, то шагнет в пропасть. У Вадима на рубахе мокрое пятно в том месте, где солнечное сплетение.

— Эмманет, твоей девушке повезло, ха-ха...

Жалкий смешок виноватого.

Мой друг близоруко щурится. Сейчас у него маленькие жесткие глаза, несколько диких волос в бровях, на переносице красная вмятина от дужки очков. Мясистые губы криво улыбаются... Большой лоб в острых залысинах. Равнодушно смотрю на своего друга и говорю ему:

— В гробу ты красавцем выглядеть не будешь, так что живи как можно дольше.

Говорю это и чувствую, что улыбаюсь. И тут он меня, негодяй, обнял, сжал и выдавил, выпустил из меня всю злобу...

Эмманет и Вадим пошли в поселок за рессорой.

Мы медленно ехали в темноте. Так было даже легче — ничего не видишь. Я чувствовал, что мы высоко в горах, уши заложило, как в воде. Мой друг спал. Ему снились кошмары, наверное, от избытка кислорода.

...Из моря выступила скала. Вдруг она стала нагреваться и краснеть Волны с шипением ударялись о скалу, и ее окутывал пар. А в черной воде плавали два аквалангиста. Они нырнули и появились на поверхности, держа под руки утопленника. Быстро-быстро заработали ластами и повисли с утопленником в воздухе. Облетели скалу и бросили его. Он с хохотом упал в воду.. Мой друг проснулся и рассказал нам свой сон Видно, мозг, расслабляясь во сне, освобождается от всякой несуразицы, чтобы утром снова четко работать — соблюдать общую норму. Совсем как завод, у которого есть надежные фильтры и отстойники. Если завод расширяется, а фильтры старые, по реке плывет мертвая рыба. Грунтовые воды тайно разносят щелочи, мазут. И в Антарктиде в желудках у пингвинов обнаруживают ДДТ.

После свадьбы я приехал с женой на реку своего детства. Через несколько дней мы уехали. Поймаешь рыбу — и вся чешуя на ладони остается. В Карелии рыба сильная, резкая, а в Баркалабове, на Днепре, слабая — тянешь, как траву, как бумагу. Лучше ехать тысячу верст за живой рыбой, чем двадцать — за полудохлой...

...Эмманет нажал на клаксон, и я очнулся.

Вместе с рассветом навстречу потекли розовато-грязные овцы. Мы оказались в середине стада.

— Первый чабан уже пропал за поворотом, а замыкающий пока еще не показался,— сказал Вадим.

Я не понимал, зачем он это говорит. Вдруг Вадим открыл дверцу, схватил барашка и бросил его в ноги. Показался чабан. Вадим приветствовал его правой рукой, а левая цепко держала барашка. Эмманет нажимал на клаксон. Чабан улыбался и кивал головой. Эмманет повернулся к нам и сказал о Вадиме:

— За целый год ничего нового не придумал.

Вадим гладил барашка. Эмманет обиделся и злорадно сказал, что впереди плохая дорога, как будто до этого была хорошая. Мой друг с интересом смотрел на Вадима.

...Эмманет тормозит, и моя правая нога невольно давит на невидимый тормоз. Замечаю, что правая нога Вадима тоже «тормозит». Мы все повторяем движения Эмманета Крутой поворот, слева — пропасть. Змеиный спуск, подъем, справа — пропасть. На дороге — ямы, залитые водой. Вокруг — горы, я уже не думаю о них; Эмманет беспрерывно сигналит, в любую минуту из-за поворота может выскочить грузовик. Мы уже не существуем отдельно друг от друга. О барашке забыли. У нас одна дорога и одна опасность. У нас одинаковые движения и одни и те

же слова: «Яма, поворот, тормоз, правее, осторожнее»...

Какое согласие, какое братство! Мы вместе с Эмманетом ведем машину, у нас одна воля, один мозг — «газик» переполнен нашими неслышными сигналами. Эмманету и в самом деле так легче.

Мы остановились передохнуть на небольшой каменной площадке. Внизу валялись уродливо-белые куски разбитого автобуса, а над нами висели огромные орлы. Они совсем не махали крыльями, делали едва заметные движения и взмывали, останавливались, снижались. Я слышал, как шумит воздух под ними, так близко они парили. Это были настоящие орлы, крылья — метра три с лишним! А вокруг остро сверкали сиреневые вершины, и место было подходящим, чтобы плюнуть с этой ослепительной высоты на всю суету земную, но я боялся подойти к пропасти, а плевать из безопасного положения все равно, что фиги крутить в кармане. Мы пошли к машине. Эмманет спал. Сутки он ехал нам навстречу, ночью ждал нас на станции, сутки ехал с нами. Три дня он сидел за рулем. Вадим сменил его, но дорога начала крутить такие восьмерки, что уши заболели и ладони стали влажными. Эмманет опять сел за руль. И опять мы ехали в полуметре от пропасти. Я разозлился на своего друга — опять он спал!

Я везде пишу: мой друг... В этой невыдуманной хронике я не хочу называть его настоящим именем — это его личная жизнь, а придумывать другое имя кажется мне неестественным. Вадим, например, имя вымышленное: ничто, кроме этой дороги, нас не связывает. А своего друга назвать Виктором или Борисом я не могу. Какой он Виктор?

Эмманет выругался и плюнул в пропасть. Нас выручил ведущий мост — «газик» на повороте выскочил из колеи, а сразу за поворотом начался крутой спуск, и машина пошла юзом.

— Под Калугой таксист врезался в столб, вытащили пассажиров — все в крови, стонут, охают, а в багажнике свинья хрюкает, цела и невредима. Мужик на телеге мимо проезжал, сплюнул, как Эмманет, и говорит: «Свинство, оно живучее...»

Опять заложило уши. Мы спускались с высоты двух тысяч метров.

Это он, Вадим, заманил нас сюда одним резким, холодным, выскальзывающим словом — форель! У этой рыбы есть и другое имя. Оно не так звонко плещется в горле, оно не такое хлесткое, но в нем больше напряжения. Оно стоит головой к стремнине—стронга! Чувствую, как оно дрожит на струе...

Лицо Эмманета вдруг стало красивым — мы спустились в долину, напряжение спало. Мы ехали по доброй земле — зеленой и пологой. Открылось пламенное поле маков, и мы крикнули, наверное, все вместе, словно маки обожгли нам глаза. Эмманет остановил машину. В каждой лиловой чашечке таились черные бархатные кресты.

Детство, три мушкетера, малиновая мантия кардинала, красное и черное, днепровские кручи, теплый песок... Разве все это было? Маки окружили нас, и мы шли по пояс в пламени. А теперь я спрашиваю: «Друг, разве были мы в долине, где цветут зангезурские маки? Разве на восточных базарах ты разламывал помидоры с белой изморозью на красной мякоти? Разве цыганки обжигали наши лица шелковыми платками? Разве мы сплевывали в пропасть косточки черешен, когда левое заднее колесо вертелось в воздухе? Если даже косточки этих черешен проросли, разве все это было? Разве были тучные и нежные альпийские луга, серые реки овец, купола зеленых от старости минаретов, выгнутая синяя сфера?.. Ты чему улыбаешься, друг? Может, ты вспомнил экскурсоводку, с которой однажды ехал в Пятигорск? «Любуйтесь, справа Эльбрус... Любуйтесь, впереди Седло... С детских лет юный Мишель полюбил синие горы Кавказа... Приближаемся к месту дуэли...» Мордастый курортник деловито спросил: «Куда попала пуля?»

Почему я пишу об этой дороге? И чего ради мы пустились в этот путь? Ради того, чтобы поймать несколько радужных форелей в озере, которое уже где-то рядом? Триста лет назад в Оке ловили рыбу руками и мед собирали прямо в лесу. Ничто так не заставляет человека беречь землю, как напоминания о недавнем изобилии природы. Если он знает, что было, и видит, что есть, он задумается о том, что будет. А если задумается, обязательно найдет выход. Это его великий и терпеливый разум сказал: «Дай мне силы стерпеть все, что я не могу изменить, и не дай мне силы терпеть то, что я уже могу изменить».

— Один час буду спать,— сказал Эмманет.

Я залез в машину, сел, продумал каждое движение... Удар по ручке! Толчок левой ногой, и я на земле... Надо держать голову ниже. Я откинулся на сиденье, расслабился... Удар по ручке! Толчок! Падение. Десять раз я выпрыгнул через левую дверцу и десять раз через правую из самых неудобных положений. Береженого бог бережет. Вадим и мой друг сначала улыбались, наблюдая за мной, потом подошли к машине и, давая мне советы, стали выпрыгивать влево, вправо. Мы посмотрели друг на друга и засмеялись. Мы проезжали какой-то поселок, и Эмманет купил нам на базаре розы... Три букета — Вадиму, моему другу и мне. Как человек, Эмманет возвысился над жалкими условностями и стандартами жизни — мужчина дарит розы мужчине! Это нас умилило, но как шоферу я ему всецело уже не доверял. Он мог залюбоваться своими долинами, скалами, водопадами...

— Эмманет,— сказал мой друг,— ты велик, как Гораций.

— Кто такой?

— Это первый в мире поэт, который не испугался написать, что он струсил, бросил щит и бежал с поля боя. Видно, Гораций был очень смелым человеком и воином, если он написал такое.

«Газик» уже плыл по глине, и наши окурки, вращаясь, падали на дно ущелья. Я посмотрел на вздыбленные камни, трещины, зазубрины и вдруг почувствовал какое-то однообразие хаоса, какую-то беспрерывную изломанную линию, несовершенную уже в долине и доведенную здесь до предела несовершенства. И чем мрачнее выглядели горы, чем уродливее торчали камни, тем гармоничнее казалась мне эта природа. Наконец-то я освоился в ней или искренне солгал себе, что освоился. Я посмотрел на голые заснеженные вершины и вспомнил слова колхозника, с которым ехал в автобусе. Он сказал:

— На голой правде ничего не растет...

Я почувствовал холод, когда увидел, что Вадим надевает свитер. Солнце еще не зашло, но из ущелий уже тянуло резкой свежестью, и меня познабливало. У каждого камня появилась тень, и дорога стала еще опаснее.

Все-таки я заснул. Черт-те что мне приснилось. Мы вошли в лес. Кто-то крикнул: «Осторожнее, все деревья подпилены!» Это был страшный лес. Громадные сосны качались от жаркого ветра. Ветер дул все сильнее, и вороны с карканьем покидали медленно падающие деревья. А внизу, как в замедленных кадрах, метались лесники, подрядчики, снабженцы...



Сосны давили их, калечили, оглушали, а из рупора на черном придорожном столбе звучал голос Некрасова: «Плакала Саша, как лес вырубали... сколько там было кудрявых берез». Ветер крутил столбы пыли, мелкий острый песок царапал лицо. Хотелось пить, но я не мог найти ни одного родника, а по реке плыл мазут, водовороты крутили дохлую плотву с раздутыми животами. Я спустился в овраг и увидел мертвую косулю. Странно... Я перевернул ее. Что-то меня насторожило. Куда же вошла пуля, дробь, картечь?.. Шкура была целая. Ни дырочки, ни засохшей кровинки. Справа под кустом что-то белело, какой-то порошок просыпался из порванного мешка. Вокруг него трава была бурой, а в лопухах чернели небольшие дырочки, как будто листья прожгли сигаретой. Кто-то бросил здесь худой мешок с удобрениями. Дождь размыл их, а косуля пила воду из ручья.

Друг растолкал меня, сунул в зубы лепешку с сыром. Мы ехали рядом с пропастью. Черт возьми, я же не трус, откуда этот страх? Кажется, я понял, понял... Это не мой страх, не за себя. Вдруг вспомнилась Карелия, Энго-озеро... Мы шли на байдарках. В одной лодке был мальчик. Энго-озеро лежит в двадцати километрах от Белого моря. Узкий отрезок земли не задерживает ветра, он перепрыгивает его, как лошади пробный барьерчик. Шторм настиг нас в самом центре озера. Байдарки зарывались в ледяные волны. Больше пяти минут в этой воде никто бы не продержался. Спасательных поясов не было. Мы повернули к ближайшему острову, но ветер подул в лицо. Байдарку захлестывало. Гребок продвигал лодку на полметра вперед, но когда я поднимал весло, ветер упирался в лопасти и байдарка отходила на полметра назад. Мы гребли на месте. В лодке, где сидел мальчик, была та самая женщина, которая спрашивала: «Неужели так близко от Москвы...» Я рвал воду веслами, и во мне кипела злоба. Каждый день я им говорил: «Надо хотя бы волейбольные камеры надуть для мальчика». Они улыбались, светило солнце, голубая вода была неподвижной. «Вы, наверное, не умеете плавать»,— сказала румяная дама. Она была упитанной, мосластой, аппетит у нее был отменный, на каждом кончике ее нерва лепилась капелька здорового жира, эти капельки амортизировали, предохраняли от холода, высоты, беды. Она не понимала опасности. Земля прочно стояла у нее под ногами. Ослепительная безмятежность окружала ее. Зачем надувать камеры? Все спокойно, прекрасно.

Когда это началось, их лодка, набитая рюкзаками и продуктами, осела, вода уже попала в нее. Женщина оглянулась, от страха ее лицо было синим. Кажется, она впервые почувствовала непрочность бытия. Но об этом я потом уже подумал. Мы выгребли к островку, распороли о камень байдарку, злоба кипела во мне — а если бы рядом островка не оказалось? Под перевернутой байдаркой образуется воздушный пузырь. Он держит только одного человека. Во всяком случае, я бы на это место не претендовал. Я пловец, и я попытался бы сделать все, что в человеческих силах. Сильный погибает, слабый выживает — это был тот самый случай. Она бы спаслась, уж это точно.

«Не унижал меня черни презрительный хохот, неосторожность она принимает за смелость лишь потому, что не знает законов охоты». Это голос из шестнадцатого века. Герой убегает от разъяренного быка, чернь хохочет.

Страх над пропастью... Дело не в этой опасной дороге. Она только обострила страх за все живое. Лес, косуля, родники, река, мальчик в байдарке, любовь, семья, будущее... Не так уж все это прочно, все живое непрочно. Рядом все время бездна. Да, я боюсь, хотя я умею плавать, у меня хорошая реакция, резкий удар, сильное сердце. И все-таки я боюсь и не доверяю людям, которые ставят вазу на край стола. Они не понимают, что она может упасть.

Мой друг спал. Может быть, ему снилась наша львовская осень, холодный камень костелов, звон старинных часов на ратуше, субботняя служба, вздохи органа, воровские поцелуи в тени собора, склоненные хоругви, треск летящих листьев, стеариновый сквозняк, эхо шагов на каменном дне веселой гулкой ночи, три гвоздики у памятника Мицкевичу... Как часто мы думали об одном и том же. Сколько ночей мы украли у сна, понимая, что когда-нибудь у нас не будет сил так бурно встречать и провожать каждую минуту. Сколько сил потратили впустую, сколько мыслей не записали, выбросили на ветер, словно собирались жить на этой земле вечно. Друг мой, разве в те годы ты смог бы заснуть в метре от пропасти?

— Смотрите!

Эмманет остановил машину, и мы увидели столб пара, он колыхался в темноте над круглой каменной впадиной. Она была метра два в длину и три в ширину. Из расщелин шумно била вода, быстро заполняя естественную ванну.

— Нарззан,— сказал озябший Эмманет, словно провел кинжалом по бруску. Мы сорвали, сбросили одежду, холод сжал сердце, плюх, плюх, плюх!.. Мы окунулись в теплую щекочущую воду, тело облепили пузырьки воздуха. Все на земле, все только здесь — и рай и ад! Каждой клеткой тела я верил этой воде, этой непонятной изначальной силе. Вдруг она стала уходить в землю, чаша мелела на глазах. Мы выскочили из своей ванны и увидели нарзанный водопад, он хлестал рядом из скалы. Мы подставили под него спины, струя сбила меня с ног, мы упали друг на друга, захлебываясь хохотом и гремучей водой, и на миг я представил себя форелью, идущей против водопада,— мои мускулы и струи нарзана переплелись жгутом, невольно я нащупал руки моего друга и Вадима, мы одновременно нашли друг друга, чтобы устоять под водопадом, мы забыли размолвку в дороге — в права вступили другие законы. Мы растерли друг друга полотенцами, оделись и за первым поворотом увидели огни высокогорного поселка, в котором нас ждали друзья Вадима.

На дороге в поселок мы догнали мальчика, он согнулся под тяжестью мокрой сети, увешанной свинцовыми шариками. Правая рука мальчика, красная от напряжения, цепко держала живой мешок с рыбой.

— Это Озиз, сын Ахмета,— сказал Вадим.

Озиз смущенно пожал нам руки, его пожатие было твердым. Весь он дышал юношеской силой и речной свежестью. В машине возник запах свежих огурцов, так пахнут только что пойманные ручьевые форели. Ахмет встретил нас во дворе. Мы поцеловались. Стол уже был накрыт. Пришли мужчины, соседи Ахмета.

Я давно замечаю, что лица людей и природа находятся в какой-то тайной связи.

Ахмет, Ахмет!

Черная грудь под расстегнутой рубахой дышит, как пашня, ногти блестят, как валуны, изломанная линия переносицы словно продолжает линию горного хребта, брови висят, как орлы над озерами, будто не женщина, а сама земля родила его!

Я вымылся по пояс и попросил у Ахмета таз, чтобы помыть ноги. Ахмет принес таз с водой, сел на корточки и, нисколько не смущаясь, помог мне по-

мыть ноги! Что-то мы навсегда потеряли — он помыл мне ноги, а я чувствовал себя униженным... Он сделал это с таким человеческим и горским достоинством, что я растерялся. А что в этом плохого? Я оправдывал его! Он помог путнику после трудной дороги. Ведь в бане мы не стесняемся мылить друг другу головы и спины. Нога, спина, не все ли равно? Что-то детское и великое было в его поступке.

Вошел огромный кудрявый парень и замер, робко подпирая потолок.

— Алеша, учитель...

Дети Ахмета стеснялись нас, особенно старший сын. Он перенес полиомиелит, следы этой болезни сделали его ум пылким и ущербным, подросток прятал за спину уродливую руку, его глаза дико сверкали, он с надеждой смотрел на нас, как будто мы могли ему помочь, он хотел нам что-то сказать и сдерживал себя. Мы подняли стаканы с вином. Ахмет, учитель Алеша, чабан, бригадир — забыл их имена,— Эммамет... кажется, еще кто-то был, не помню... Они смотрели на нас и улыбались. И мы улыбались им. Все терпеливо ждали, когда вино сделает свое дело. На зубах хрустела жареная форель.

Ахмет приветствовал Вадима в своем доме, и мы выпили за нашего поводыря. Я даже не заметил, когда он надел костюм, накрахмаленную рубаху и галстук. Вадим в разговоре растягивает слова, как будто хочет выиграть время и что-то обдумать.

— Дорогой Ахмет! Я третий раз у тебя в гостях...

— Зря в такую даль три раза он ездить не будет,— шепнул мой друг.

Вадим заговорил на родном языке Ахмета, все смотрят на моего друга. Сейчас будем за него пить. Ага, я должен дополнить тост. Я встаю и говорю о том, что мой друг в седле сидит, как джигит, и стрелок он хороший, и рыбу ловить, и мясо жарить умеет, и в драке он крепок, а в дружбе нежен, и в любви терпелив; он хороший отец, и сын у него хороший растет. И я молча вспомнил, как однажды на крутом вираже дверца машины открылась и я уже подметал волосами асфальт, а сидели мы вдвоем на одном сиденье, ехали в фургончике, мой друг поймал меня и удержал на весу.

А что бы он делал без меня? С кем бы он аукался в баркалабовских борах, мерз на осенних болотах, с кем бы он так согласно и тревожно молчал у костра, коротая июньские ночи на берегах Сожа? Еловые лапы пружинили у нас под ребрами, и одной дрожью дрожали мы на холодной весенней земле.

— Ты родом откуда? — вдруг спросил Ахмет.

— Из Белоруссии.

Ахмет встревожился:

— Город?

— Могилев.

— Он сказал: «Могилев»... Вы слышали?.. Могилев! Я брал Могилев. Белорусский фронт. Я брал Могилев...— Ахмет заговорил сбивчиво, торопливо, словно боялся, что мы ему не поверим.— Там вырос?

— Там...

Ахмет поцеловал меня, словно я вернул ему что-то очень дорогое.

— Спасибо!

— Тебе спасибо, Ахмет.

Вдруг он запел:

— «Выходила на берег Катюша...»

— «На широкий берег на крутой»,— подтянули мы.

— ...«Эх, дороги, пыль да туман»»,— пел Ахмет.

— ...«Темная ночь, только пули свистят по степи»,— звенел голос Ахмета.

— Холодно,— сказал Ахмет и вытащил из шкафа пиджак с орденскими планками.

Ахмет плохо говорил по-русски, но сколько песен в тот вечер он спел и ни разу не сбился.

Мы выпили за Могилев, и Ахмет запел про Марусю, про синий платочек, про полевую почту.

— А ты откуда? — спросил он моего друга.

— Из Калуги.

— А ну-ка, дай жизни, Калуга! — закричал Ахмет и заметался по комнате.— Я дарю тебе вот это. А тебе вот это.— Он совал нам свое ружье, нарды, отделанный серебром рог.

Он озирался в отчаянии и не находил, что еще может подарить. Мы приняли нарды и рог, я подарил Ахмету электробритву, Вадим достал какие-то пакеты и большие банки с чаем. Могилев... Прозвучало это слово, и добро уцепилось за него, добро искало повода раскрыться и нашло.

— Земляк,— сказал мне Ахмет.

— Все мы земляки,— сказал Вадим,— земля у всех одна. Другой нет и не будет.

— Мы все земляки,— повторил учитель Алеша, и чабан закивал... И вдруг как крикнет нам что-то на своем языке — может, «братья», а может, «земляки»,— и пустился в пляс.

Я подошел к окну — тьма! Редкие звезды, холодные горы.

Было по-детски обидно и непонятно, почему на одной-единственной земле, окруженной холодом и слабым светом звезд, мы никак не можем понять, что мы — земляки. Сегодня мы в гостях у Ахмета, завтра у Рамиса, послезавтра у Сейфудзина... Но мы забываем, что мы живем в беспредельности. Конечно, нельзя все время чувствовать над собой беспредельное пространство, но и забывать о нем нельзя.

Стол отодвинули. Все плясали, кричали, целовались. Я ем быстро и выпиваю свою норму за час, потом я тупею от еды, вина, тостов и уже бессмысленных откровений. Утром от них остается только кислый запах во рту. Я вышел во двор, из темноты зарычал огромный грязно-белый пес. Люблю русских сторожевых. Эти псы спят на холодной земле, на скалах, едят из корыта отруби, хлеб, картошку. Хотелось лечь рядом с этим псом, шерсть у него теплая, сразу согреет. И не только к тебе, даже в твой сон недоброе не пропустит. Я спокойно сел возле пса, обнял его. Пахло шерстью, навозом, лошадиной мочой. Правый бок согрелся, а ноги застыли. Я закрыл глаза: песчаный берег отвесно уходит в воду. Распластав руки, мы лежим на горячем днепровском песке почти вертикально, как птицы на взлете. Любимый берег детства — дебрянский пляж! Живот, грудь, руки — на песке, а ноги — в воде. Тело медленно, сладко и безвольно сползает в воду. Холодок сжимает ноги в щиколотках, ползет вверх, захватывает колени. Вода бежит между пальцев, щекочет подошвы. Половина тела — в реке, половина — на берегу. Зной гладит спину. Голову напекло. Вдруг кто-то пробежит по отмели, обдаст брызгами, напрягутся тысячи нервов и сосудиков... Однажды я попросил у отца денег. Он сказал: «Ты молод, здоров, да еще весна пришла. Этого достаточно. А если мало, ищи новые радости, их и без денег можно найти». И вот теперь вдруг соединились слова отца с воспоминанием об отвесном диком пляже... Ноги застыли и онемели. Я поднялся и пошел в дом, человек должен все-таки спать в тепле и в чистоте. Они еще пили, или и пытались петь... Я лежал с закрытыми глазами... Банкетный зал заполнили гости, на подоконнике выросла груда подарков. Голоса шарахались, как летучие мыши. «Горько, горько!..» Потом зазвучала, так сказать, музыка, и под ее скачки седая румяная женщина в короткой юбке пустилась в пляс. Это была та самая женщина, которая, заглядывая в траншею, спрашивала: «Неужели так близко от Москвы была война?» В центре стола, ря-

дом с розовощеким мальчиком, сидела дочь этой женщины, моя жена.

«Горько!» — крикнули гости, и мальчик поцеловал Марию.

Ахмет, он почему-то оказался среди гостей, крикнул музыкантам... Они надули щеки, по-жабьи выпучили глаза, ударник приветливо оскалился, и началось... Взвизгнул воздух, затряслись затянутые в парчу старухи. Женщина в короткой юбке не успевала подойти к столу, ее перехватывали на полдороге. Она плясала, кружилась, вихлялась беспрерывно. Ей не давали передохнуть, выпить, прожевать кусок. В конце концов гости опьянели, устали и ушли. Но едва зал опустел, как появились новые гости, они принесли очень много дорогих подарков, и рядом с Марией возник на удивление стройный и румяный мальчик. «Горько!» — закричали гости. «Горько!», «Зверз!», «Якши!» Захромала музыка, и седая женщина в короткой юбке, сверкая пуговками-глазками, пустилась в пляс. Как только она садилась за стол, ее снова приглашали на танец. Свекра сменяли его друзья и родственники. Она уже повисала на партнерах и дышала ртом. Музыканты выливали из мундштуков слюну, ударник безостановочно дубасил в свои тарелки и барабаны. Наконец гости разошлись, но из второй двери хлынули новые гости с мохеровыми одеялами, серебряными браслетами, наборами хрусталя и старинного фарфора. А возле Марии появился прелестный белокурый юноша. Гости подняли бокалы. «Горько!» Музыканты вылили из труб слюну, и воздух затрясло, залихорадило от дробного ритма. Дама съежилась, сжалась, но кто-то уже склонился с приглашением, подрагивая ляжкой от нетерпения. И она опять запрыгала, закуролесила, заколдыбала, задергалась. От лихорадочного дыхания кофта лопнула у нее на спине, язык вывалился, волосы летали по залу и опускались в тарелки гостей. Бледная Мария еле стояла на ногах. Наконец гости разошлись, уф!.. И тут же навалились с хохотом новые — румяные, полные силы. Все они были одеты в дубленки, у каждого бренчали в кармане ключи от собственных «Жигулей». Эти принесли на редкость роскошные подарки, а голубоглазый жених был лучше всех прежних. Я вышел из ресторана и огляделся. Вокруг были горы. Камень ожил, и передо мной возник Данте.

— Ад, чистилище и рай ты знаешь,— сказал поэт, —но ты еще не видел кладбище.

— Разве на том свете оно есть? Ты что-то путаешь...

— Сейчас увидишь.

Мы подошли к высокой стене.

Я залез на нее и подал руку Данте. Он был тяжелым, я с трудом втащил его наверх.

Дул холодный ветер, и длинные каменные волосы Данте шевелились.

— Смотри...

Лежа на стене, мы увидели равнину, погруженную в безрадостные сумерки. Ничто не цвело на этой серой земле, лишь ветер шевелил редкие, высохшие травинки.

От стены уныло тянулись однообразные холмики и надгробия без фамилий.

Даже даты не были проставлены. А дальше и холмиков не было — аккуратными рядами лежали одинаковые целлофановые мешочки с прахом.

— Кто здесь лежит?

— Никто.

— Как никто?

— Они жили в разные века, не делая ни зла, ни добра. Они производили не больше, чем потребляли, помалкивали, ни во что не вмешивались и учили этому своих детей. Они были, но их не было.

— Понимаю. Это жестоко, но справедливо.

— На нет и суда нет!

Где-то заржала лошадь. Все явственней плескалась вода, орали ослы, щелкали бичи, пахло хлебом.

— Тебя зовут жить,— сказал Данте.

Это был не сон. Я давно уже не спал...

Я открыл глаза и словно впервые увидел Вадима. Светлые глаза, веселые, но очень внимательные. Детский, чуть вздернутый нос. Нежные женские уши и крепкий мужской подбородок. Он говорил с Ахметом на его языке, улыбаясь, поглядывал на меня.

— Мы дали тебе поспать...

Он стоял, расставив ноги, сильный, цепкий, пахнущий лосьоном, аккуратно выбритый, причесанный — полиглот, практик, человек дела. Что бы мы смогли без него? Он держал в руках список, ставил крестики и повторял: «Зверз!» Вокруг него лежали ящики, мешки, бидоны. Он рано проснулся, поднял необходимых людей, и они принесли все, что он просил у них. Я не любил его и любовался им. Ахмет и его друзья ждали нас во дворе.

Мы быстро нагрузили лошадей ящиками с хлебом, рисом, солью, сахаром, чаем, сыром. На ослов взвалили вязанки горного дуба, бидоны с керосином, палатку, раскладушки, одеяла, матрасы, рюкзаки, ружья. Щелкнули бичи, эхо полетело в розовые утренние горы. Караван двинулся. Мы сели в «газик». До перевала дорога бежала холмами. Прошли сильные дожди, «газик», как глиссер, разбрасывал волны, скользил и вертелся на мокрой траве. Наконец мы уткнулись в перевал. «Газик» взлетел по крутому склону, завыл, замер, затрясся и бессильно попятился в долину. Эмманет выразительно глянул на нас, и Ахмед так посмотрел, словно был виноват перед нами. Мы попрощались и пошли в горы.

Сразу стало холодно. Сначала ветер остудил лицо, потом грудь, живот, колени — мы всходили на открытую высоту. Сыпанул град, я повернулся к нему спиной — две маленьких фигурки преданно чернели у подножия зеленых гор. Под подошвами, как живые, ворочались мокрые камни. Вадим шел впереди, не оглядываясь. У него на голове появилась шерстяная шапочка — все предусмотрел. От холода у меня заболели уши. Сердце бухало, как бадья в колодце. На руках вздулись вены. Я накрыл голову курткой, но холод охватил спину, и я одернул куртку вниз. Небо стало серым, подвижным. Ноги еле двигались, я засмеялся и услышал какой-то чужой низкий голос... Надо написать отцу письмо. Выслать ему шерстяные носки, хорошо бы меховую безрукавку, растворимый кофе... А матери — шерстяную кофту и плащ... Идти и дышать было все труднее, и я понял старость... Теплую одежду я оставил в рюкзаке. Все сильнее болела голова. Но я тоже не из тех, кто пропадает безвольно. Я снял шерстяные носки, обмотал ими голову, натянул сверху целлофановый пакет, и голова согрелась. Я почувствовал радость первобытного человека. Мой друг и Вадим ушли вперед. Сначала я обиделся, но сказал себе: это—уважение, они верили в меня, в мои силы. И я снова поверил в себя, хотя пережил тяжелую зиму и часто болел. На гребне перевала блестели камни, оправленные в лед, пахло снегом. В ущельях мрачно витали испарения. Внизу я увидел озеро, заштопанное осокой, на рябой воде качались сотни зелено-белых селезней. Я почему-то сразу подумал, что это другое, не наше озеро. Мой друг и Вадим были далеко внизу. Ноги скользили по заиндевелой траве. В расщелинах бежала прозрачная снеговая вода. Я лег на камни, упер-



ся рукой в твердое дно ручья — кисть сразу заныла от холода. Я напился талой воды, и зубы зашлись. Я обошел скалу и увидел внизу наше озеро, зубы еще ныли, и я физически почувствовал, какая в нем ледяная вода! Озеро лежало в каменной чаше, окруженной узкой полоской альпийского луга. Синяя вода, зеленая полоса луга и дальше, выше — белый блеск вечных снегов. Ни деревца, ни кустика. С гор прямо в озеро бежали синие ручьи незабудок. Кое-где снег стаял, сбежал, и русла ручьев заросли цветами. В воздухе стоял тонкий и крепкий запах меда. Мой друг выстрелил, приветствуя наше озеро. Вадим, наверное, крикнул «зверз», они обнялись, замахали руками. Снежная пыль повисла в воздухе возле отвесной скалы. Нас окружали горы и вечность.

Вечером пришел наш караван. Друзья Ахмета ловко разбили палатку, освежевали барашка, разожгли костер. И тут появились Садрак и Андроник. Если люди после смерти превращаются в цветы, в птиц, в зверей, то и звери могут после смерти превращаться в людей. Наверное, барс и лиса когда-то издохли в этих горах. Через сотни лет вода, тепло, тлен, свет соединились, и воскресло, возникло перед нами в обликах Андроника и Садрака — как мы потом поняли — содружество лисы и барса. Худой, верткий Андроник и высокий, мягко ступающий Садрак подошли к нашему костру, вежливо поздоровались.

Пламя осветило острое личико Андроника и черное плавно-жесткое лицо Садрака. Он молча сел, прикрыл глаза и стал еще больше похож на чутко спящего, сытого барса.

Андроник, жалобно кашляя, что-то сказал Вадиму. Наши проводники насторожились. Вадим напрягся. Андроник, приветливо улыбаясь, спросил:

— Лодку привез?

Вадим обнял его и Садрака, налил им по стакану вина. Они равнодушно выпили. Вадим развязал рюкзак, вытащил старую резиновую лодку, несколько коробок чая и какие-то пакеты. Садрак подмял под себя лодку и сел. Вадим и Андроник о чем-то заспорили.

— Они сторожа,— сказал мне учитель Алеша,— больше трех форелей в день ловить не разрешают.

— Разве это озеро заповедное?

— Нет.

— У нас есть лицензия.

— А им наплевать. Сторожа промышляют, а другим не дают.

— А что говорит Вадим?

— Он обещает им сапоги, спиннинги и патроны, когда вы будете уезжать.

— А что говорит Садрак?

— Разрешил ловить пять форелей каждому.

— Но ведь спиннингами ловить можно.

— Им ничего не докажешь.

Когда мы собирались сюда, о Садраке и Андронике Вадим не сказал нам. Боялся отпугнуть. Вадим что-то шепнул Садраку. Садрак наморщился, как барс, и рявкнул на Андроника. Андроник ответил ему хриплым лисьим лаем. Содружество рушилось! Затравленно озираясь, Андроник увидел на лодке заплаты.

Он стал тыкать в них пальцем, глядя на Садрака. Андроник, небрежно отшвырнул лодку ногой, она перевернулась, все днище было в заплатах.

— Утонешь,— сказал Андроник и подавился кашлем.

Садрак с презрением посмотрел на Вадима.

— Тьфу!

И пошел к своей лошади.

— Эй!

Алеша сорвался с места, наши проводники обступили Садрака и Андроника. Все закричали, заспорили и вдруг притихли.

— Они гости Ахмета,— сказал Алеша,— разве ты обидишь гостей, Садрак?

— Лодка вся в дырках...

— Зачем тебе лодка? Они гости Ахмета. Ахмет даст вам барана. Я могу дать еще одного барана.

— Дай овцу,— сказал Андроник.

— Хорошо, приезжай хоть завтра.

Вадим переводил мне их разговор.

— И я дам барана.

Кудрявый парень с золотыми зубами насмешливо глядел на Садрака.

— Мне,— быстро сказал Садрак.

— И я тоже дам барана.

— Мне,— крикнул Андроник.

— И у меня возьми!

— И у меня!

Садрак и Андроник растерялись. И вдруг все как захохочут. И Садрак, и наши проводники, и Алеша, и Андроник. Садрак махнул рукой, мол, ваша взяла, Андроник вздохнул, вернулся, прихватил лодку. Наши проводники сели на лошадей, один из них выстрелил на прощание, всадники обогнули озеро и скрылись за перевалом. Несколько минут мы бессильно сидели на ящиках и смотрели на голубое озеро, окруженное горами. На воде лежали извилистые белые дорожки — снега отражали вечерний свет. Наша палатка стояла на скалах, место неудобное, зато неприступное, к нему вела только одна тропа, огибающая озеро. Пахло медом и снегом. И тут начали «взрываться» форели — одна, вторая, потом сразу несколько... Они не выплескивались, они оглушительно взрывали воду — огромные, пятнистые, матовые рыбы с оранжевыми флажками на спине! Мы лихорадочно наладили спиннинги. Вадим заговорил четко, твердо:

— Ловим в трех разных местах. Не сближаемся. Их—двое, нас—трое. Рыбу под камни. В сумке—однадве форели. Главное — блесну вести очень медленно. Вода ледяная. Рыба стоит в оцепенении. Как только появляется Садрак или Андроник, катушку крутите быстрее, поклевок не будет. Берет на самых дальних забросах — 60—70 метров. Я видел, ты, не оглядываясь, через голову попадаешь блесной в камень, ты — мастер. Зверз! — Моему другу: — Ты тоже — зверз! Поэтому никаких соревнований. Мы не дети. Теперь мы — монолит! А? Соль в ящике под моей раскладушкой. Целлофановые мешки у меня в чемодане. Кстати, вы взяли маленькие чемоданы? Рыбу обрабатываем вон там, за скалой. Потроха — в яму, сверху закрываем дерном, чтобы мухи не собирались. Я не сказал вам сразу о Садраке, чтобы вы не отказались от поездки. Одному здесь трудно, впрочем, дело не в этом. Я хотел, чтобы вы подержали эту рыбу на согнутом удилище! Она очень сильная, ломает якоря, рвет леску. Зверз! Берегите удилища. Да, намечайте камни, под которыми будете прятать рыбу. Все! Пошли.

Форель взорвалась в нескольких метрах от берега. Она звала, дразнила. Вадим все рассчитал правильно. Теперь уже ничто не могло удержать нас, мы шли, бежали по тропе, огибающей озеро. Сколько лет я и мой друг мечтали об этой форели! И вот, кажется, дорвались. Я старался не думать о ней, ничего не представлять, не воображать, чтобы не обокрасть себя заранее. Я оглянулся — детская улыбка блуждала на лице моего друга, стекла его очков стали золотыми, он шел, как блаженный, как слепой... Он прихрамывал и отстал от нас. Перед этим

Вадим натер ногу и попросил у меня кеды. Я примерил его кеды — правый жмет... У всех был один размер. Вадим предложил всем разуться и составить подходящие пары. Форель взрывалась, по воде шли широкие круги. Кеды перепутались, лихорадочно переобуваясь, мы выдернули шнурки, никто уже не знал, где чья обувь. «Это мой», «нет, этот мой, а вот это твой», «я только что надевал этот», «тогда возьми вот этот», «а ты дай мне свой, нет, не левый, правый, а ты отдай ему свой правый...»

Форель звонко шлепнула хвостом, и еще одна хлобыстнула метрах в тридцати от берега.

— Теряем время,— сказал Вадим.

Моему другу надоели все эти манипуляции с кедами, он улыбнулся и вышел из игры. Теперь он хромал. Вадим, не останавливаясь, посоветовал ему снять шерстяные носки или выбросить прокладки. Он легко прыгал по скользким камням. Я замедлил шаг. Тропу пересек ручей, с гор бежала снеговая вода. Я лег на плоский холодный валун, зачерпнул воду ладонями — пальцы онемели. Подержал во рту, согрел, проглотил. Возле ручья на глине я увидел следы медведя. Вытащил из кармана малокалиберный наган и проверил предохранитель. Садрак сказал, что недавно на пастуха прыгнул старый барс, пастух убил его дубинкой. От медведя моя хлопушка не спасет, но отпугнуть может. Мой друг уже делал забросы. Он и Вадим пошли вправо, там вдоль берега тянется глубина, а я пошел влево, хотя знал, что мое место хуже. Как только я увидел это озеро, я сразу приметил их место. И блесны у Вадима уже проверенные. Но я сам подбираю блесны, сам ищу места. Форель — рыба очень осторожная. Я не хвастаюсь, но я умею брать ее не хуже, чем Ван Клиберн свои гаммы. И все-таки я не был уверен в удаче. Я достал из легкого футляра хрустальную подвеску от люстры — узкую, шестигранную, в виде вытянутого ромба. В ее отверстие я продел кольцо и нацепил крупный, иссиня-черный тройник. Колючая сталь жестко спружинила, от нетерпения я поцарапал палец, выступила кровь.

Хотелось поскорее послать блесну туда, где вскидывались форели и оранжевые плавники чертили, рассекали воду, но я положил спиннинг на камни, достал из сумки бутылочку с йодом, прижег ранку. Беда любит счастливых, надо быть осторожным. Счастливые — слепые.

...Форель так ударила по блесне, что меня затрясло, будто я схватился мокрой рукой за оголенный провод.

Лицо горело, и волосы на голове шевелились. Я повторял одно слово: «Иди, иди, иди, иди...» Я все забыл! И в сознании вспыхивал только один тревожный сигнал: «Она! Радужная...» Чуть ли не с первого заброса. Удилище пружинит, скрипит. «Иди, иди, иди!» Я выволок ее на галечную отмель, сжал ей жабры и почувствовал ее холодное мускулистое тело, она рванулась и выскользнула, я опять схватил ее за голову, прижал к гальке, она вырвалась, якорь распорол мне ладонь...

Я на леске оттащил ее подальше от воды. Вся в фиолетовых и оранжевых горошинах! Она так ударила хвостом, что галька брызнула. Я не смог сжать ее жабры — такая она была сильная и скользкая. Руки дрожали. Я быстро прижег йодом глубокую царапину, сел, закурил. Прицепится какая-нибудь чушь, и никак от нее не отвяжешься. «Вам возвращая ваш портрет, я о любви вас не молю...» или это: «Помнишь, мама моя, как девчонку чужую...» Неразборчивая память детства. На высоком берегу Днепра, в парке Горького, крутили пластинки. Тогда мы ловили рыбу прямо под городом, с моста, под канатной дорогой и даже возле завода.

Я достал форель из сумки и залюбовался ее контурами.

Я спрятал рыбу в холщовый мешок. Теперь знал, что поймаю много, и не торопился.

...Мария стояла на том берегу Днепра и отжимала мокрые волосы. Между нами по реке плыла мертвая рыба.

Как тревожно пахли в детстве речные обрывы, как знобило луга от полуденных ветров!..

Я надел свитер, от скал тянуло холодом. Солнце спряталось на несколько минут, и спина сразу озябла.

...Серенькое днепровское утро. Белые груды отлетавшей поденки. Миллионы мертвых бабочек, растертых сапогами и колесами,— булыжная улица словно забрызгана известью. Сырой, сладкий запах торфяной земли. Я копал червей возле колонки и сквозь тонкую ограду видел, как девушка мыла в тазу ноги. Мне даже понравилось несовершенство смуглых линий, возможно, то было первое приятие жизни такой, какая она есть, с изъянами, с ее прекрасными огрехами и недоделками.

Это было в детстве, когда еще можно было пить воду из реки.

Что наши спиннинги? Даже сетями не изведут эту форель. Каждую осень она мечет десятки тысяч икринок, и, если вода чистая, семь процентов выживают. Форель любит чистоту и холод. «Кстати, замечено мною, что зверь неуклонно силу теряет и рыба в реке пропадает, если хозяин ведет себя слишком стесненно, вдруг почему-то ловить и стрелять забывает!»

Это голос из шестнадцатого века.

...Я копал червей, а девушка мыла ноги в тазу, она высоко подняла платье и подоткнула подол за пояс. Я с восхищением смотрел на нее. А потом я стоял на речной косе. От берега бежала струя — резак. Ниже на плесе бил жерех. Я сделал заброс, и жерех грозно остановил блесну. Удилище спружинило, я вскрикнул от неожиданности, потому что я не надеялся на поклевку. Я был один и понял, что сам должен действовать и думать. Он вылетал из воды — я отпускал леску. Я держал его голову наверху, чтобы он наглотался воздуха и ослабел. Он тряс головой, чтобы освободиться от блесны. Я тотчас давал ему уйти в глубину, ни на секунду не ослабляя леску. Он был огромен и великолепен, его линии я запомнил на всю жизнь. На нем не было красных пятен и язвочек, от него не отставала чешуя, от него не пахло ни керосином, ни одеколоном, от него пахло рекой — вечной свежестью! Я выволок его на песок, отбросил спиннинг, упал на него плашмя, ловко просунул растопыренные пальцы под холодные жабры. И когда он упруго бился подо мной и выскальзывал из-под меня, а я опять накрывал его своим дрожащим телом,— берег расплылся, в глазах зарябила зеленая ограда и смуглые ноги в тазу, и я понял, что такое любовь... Сердце еле билось, я бессильно сидел на песке... Я люблю песок, хотя на нем растут только ивы, его даже землей назвать нельзя — он движется. В песках всегда грустно, кого-то жалко...

Форель еще билась в сумке, я поднял мокрую живую ношу — она тяжело оттянула руку. Я обошел скалы и сделал заброс. Форель ударила и с блесной во рту вылетела из воды! И так же быстро мелькнула мысль: чем сильнее радость, тем острее отчаяние... Прошло время чистых радостей — без горького привкуса, без жалости к себе, отцу, матери, брату, другу... Я поймал еще две форели, одну очень крупную. Она вытянула из меня все нервы...

Я обошел озеро. Мой друг, вскрикивая, выволок огромную форель, бросил спиннинг, подпрыгнул, побежал к Вадиму, обнял его, поцеловал, бессильно сел на камень... «Что делается, что делается, обидно, никто нам не поверит»,— бормотал он.

Форели — тяжелые и литые, как снаряды,— лежали на снегу под скалой.

Вадим поймал одиннадцать, мой друг — семь.

Мы сложили рыбу в мешок, мой друг взвалил его на спину.

— Не верю, не верю...— повторял он и оглядывался. Вдруг притих, погрустнел.

Возле ручья мы остановились. Вадим выпотрошил первую форель. Мясо было ярко-оранжевым, почти прозрачным от жира. Мы присыпали его солью и тут же съели по куску. Оно таяло во рту. Мы хлебнули ледяной воды и обнялись. Я поцеловал Вадима и сказал ему:

— Спасибо тебе за это озеро.

Мы все еще не верили своим глазам, мы вынимали из мешка форелей, они выскальзывали из рук и тяжело падали в траву.

— Ты посмотри, какие линии, какая рыба, какие краски, как сопротивляется, у меня два тройника сломала! А воздух? Мед! Никуда отсюда не поеду! — кричал мой друг.

Он искренне говорил все это, как женщина, в которой что-то всколыхнулось на один час, и она кричит глазами: «Люблю». А утром молча уходит или так же искренне говорит: «Не люблю». Вадим забрал у моего друга мешок! Понес, покачиваясь, аж шея покраснела.

— Стой!

Я отложил несколько форелей в сумку, чтобы ему было легче. Мой друг забрал у меня сумку. Шепнул: «Не растревожь свою язву...» Мы еле тащились, все-таки три тысячи метров над уровнем моря.

Под луной сверкали снега, и на воде лежали их белые тени. Холод пришел так быстро, что мы не успели к нему приспособиться. Заныло сердце. Даже в спальном мешке меня знобило. Мешки мы положили на раскладушки. Горы уже остыли, и в нашем распадке стало, как в погребе. Даже не верилось, что днем было градусов тридцать. Мой друг сразу заснул. Я и Вадим тихо переговаривались.

— У тебя баб много было?

Я весело солгал:

— Много!

— А как ты с ними? Такой же, как с мужиками, ну, гордый, резкий, или на жалость берешь? Какая блесна?

И тут меня понесло, как будто рессора лопнула. Понесло, как на лодке перед порогом, а я еще подгоняю веслами! И вспомнился Ашир, тот самый мальчик, который доказывал другому, что он нечаянно упустил стрижа... Чем хуже, тем лучше! Почему, зачем? Я сам еще не знал.

— Ты их понимаешь? — тревожно спросил Вадим.

— Понимаю.

— Расскажи интересный случай, а я чаёк согрею.

Он вынырнул из спального мешка и разжег керогаз.

— Рассказывай!

Его била дрожь, от холода, конечно.

И я начал:

— Я ехал в общем вагоне из Москвы в Оршу. Интуристы шли в ресторан. Одна полька посмотрела на меня и влюбилась.

— Сразу?

— Да, сразу.

— Ну, а как ты понял, что она влюбилась?

— Почувствовал, в воздухе была какая-то грусть, снег на откосах таял...

— Зверз! Ну, рассказывай!

— Нет, это длинная история, я тебе другую расскажу, покороче.

— Я пришел к другу. Он сбегал в магазин, купил вино, конфеты. Говорит: «Придет одна девушка, ты с ней посиди, вот вам вино, чтобы не скучали. А я на худсовет. Скоро вернусь». Он ушел. Потом она пришла.

— Какая?

— Стеснительная, угловатая, глаза влажные, туманно-голубые.

— Зверз!

— Мы вино выпили и уехали к ней. А он ночью звонил, кричал: «Я знаю, ты не одна, ты с ним».

— И что она?

— Она сказала: «Ой, как интересно».

— Понимаю. Мы ведь благороднее их, а?

— Еще бы. Сплошное благородство.

Проснулся мой друг, закурил.

— Он говорит, что мы благороднее женщин,— сказал ему Вадим.

— Это ты говоришь.

— Не все ли равно, что мы говорим. Они ближе к природе, да?

— Дикую природу они не понимают. В лесочке им хорошо, а в тайге, например, скучно...

— Да, здесь они бы просто мучились. Моря нет, песка нет, ларьков с конфетами нет. Я сюда Свету привез, она увяла на второй день. Расскажи еще что-нибудь...

— Бунин часто писал, что не понимает их. Вроде бы они и не люди, а какие-то иные существа. А Толстой? У него спросили: «Что вы думаете о них?» Он ответил: «Когда умирать буду, все о них скажу и быстро захлопну крышку».

— И Чехов?— с надеждой спросил Вадим.

— И Чехов. Все классики!..

Вадим лежал с закрытыми глазами. Думал о чем-то и тонко улыбался. Он понял, что мы вступили в игру, и я был почти уверен, что знаю, о чем он думает: «Пусть это игра, но как далеко вы можете зайти?» Он решил «расколоть» меня со звоном. И я решил «расколоться»!

— Курица не птица... Баба с возу... А про мужиков таких пословиц нет.

— Точно нету?

— Точно. Я все сборники специально перелистал — ни одной!

— И поэзию они не понимают,— коварно сказал Вадим.

Я подыграл:

— Согласен! Помнишь, как об этом писал Пушкин? Дословно я не знаю. Примерно так: жалуются, что наши женщины не любят поэзию. И объясняют это тем, что они плохо знают родной язык. Но какая женщина не поймет стихов Жуковского или Вяземского? Природа, наделив их умом тончайшим, едва ли не лишила чувства прекрасного. Послушайте, как они поют романсы, как искажают ритм, теряют рифму, исключения редки...

— Безобразие,— промычал мой друг.

— И Восьмое марта надо отменить,— шепотом сказал Вадим.

— Ура!

— Девятого войдешь в магазин — мужики стоят в очереди, а жены их пасут. И одна другой: «С пьяшедшеньким»... «С пьяшедшеньким».

— А молочные продукты вчерашним числом помечены. Из-за них!

— А как же, гуляют. «Поздъявь меня». «И ты меня поздъявь». «Поздъявляю». «Поздъявляю». «Что

он тебе купил?» «А тебе?» «Большую? А за сколько? Ну, пока, с пьяшедшеньким...» И пошла поливать своего за то, что он ей за столько не купил...— Вадим шепелявил со смаком, со змеиным свистом.

— Что же делать? Лучше всего вечером седьмого вводить себе солидную дозу снотворного и через три дня просыпаться...— сказал мой друг.

Смех душил меня. До крови прикусил губу — не помогло. Стал щипать и выкручивать левый указательный палец. Правый мне нужен для спиннингования. Мой друг трясется с открытым ртом.

Одно я знал точно: однажды Вадим обжегся и навсегда сделал выводы: «Что-то здесь не так, задаром не беру...»

— Один философ...

— Да...

— Чайку налей.

— Что он сказал?

— Чайку, пожалуйста, налей. Не делай чефир, спасибо. Один философ сказал о них точные слова. Ничего мудрее я не читал.

— Что он сказал?

Вадим держал палец во рту и давился от счастливого хохота. Он все понимал и все-таки жадно заглатывал каждое слово.

— Подкинь сахарку. Спасибо. Так вот, он сказал...

— Какой философ?

— Монтень, кажется, нет, потом вспомню. Он сказал, что никто им до раскрепощения, он имел в виду французских аристократок, никто им не мешал заниматься наукой, литературой, живописью. Сами не хотели. Ну, а кто им не давал ставить опыты, писать, рисовать?

— Зверэ! Умница. Вот копнул, а? Вспомни, кто же это?

— И готовить они не умеют. Кулинарное искусство остановилось. Хорошее мясо обязательно испортят. Делают как попало — тяп-ляп-шлеп... Фантазии не хватает.

Мой друг бился в истерическом хохоте, он хрюкал, стонал, булькал, плакал, тряс головой. Сел, подергал челюсть — онемела от смеха. Напился чаю. Закурил. На мгновение мы притихли. Небо светлело.

— Он с нами не согласен,— ехидно сказал Вадим.

— Вечную тему обгладываете, шакалы.

Друг подмигнул мне, мол, давай взбодри пламя, но мне вдруг все это сразу надоело. В палатку смотрело небо. Остывшие за ночь камни подпирали спину холодом.

А Вадим не унимался:

— Расскажи еще какой-нибудь случай...

— Надо поспать, мы не сможем ловить.

— Утром здесь она не берет, стоит в оцепенении, пока озеро сверху не прогреется.

Боль просверлила голову. Видно, я передержал во рту снеговую воду, заболел зуб. Все равно не засну...

— Однажды в юности познакомился я с дочерью маршала. Привела домой. Маршал оказался рыбаком, поговорили о живом деле. Выпили. Он мне шепчет: «Женись на ней, надоела она мне». Вспомнили весенние разливы, вылеты бабочек-поденок, ловлю нахлыстом, ловлю на майского жука, ловлю на стрекозу — в тюкалку... Он шепчет: «Не женись на ней, другой дурак найдется». Я ему о себе рассказал. «Не женись. Твоя дорога в гору, надорвешься с этой куклой».

— Вот мужик, а? Зверэ!

— А теща так не скажет.

— Никогда! Нет, мы все-таки лучше их.

— Еще бы!

— А дочь, какая она из себя?

— Милая, стройная, энергичная. Лжет, а глаза чистые-чистые.

— Вижу!

Боль опять прострелила голову, десна опухла...

Где сейчас твой стриж, Ашир? Забился в свое гнездо. Хорошо, если оно в скалах или на голом обрыве. А если под крышей или в щели какого-нибудь сарая, леска запуталась за кусты, ночной ветер дергает ее, и крючок бередит рану.

— У тебя есть анальгин?

Вадим достал из чемодана анальгин.

Чай остыл. Холодно. «Рыба не испортится»,— подумал я, засыпая.

— Они ведь и дружить не могут,— шепнул Вадим,—одна другую готовы сожрать. А на людях целуются, воркуют. Вот ты бы смог с женой друга?

— Нет. Просто так — нет.

— И я не смогу.

— А они запросто. Отбить мужа у подружки — радость.

— Зверэ! Нельзя им доверять, а?

Я проснулся от духоты. В палатке звенел зной. Вылез, оглянулся, ничего не понимая,— горы, снег, запах меда, груда форелей. Мой друг и Вадим потрошат рыбу, протирают ее оранжевые бока солью. Тушки укладывают в большой целлофановый мешок.

— Помогай!

Я аккуратно срезал дерн, выкопал ямку, сгреб в нее лопатой потроха, засыпал землей, заложил дерном. Мы поели рыбы, выпили чаю. От жары и высоты почувствовал вялость. Я, задыхаясь, снял свитер, теплое белье. Зашло за тучу солнце — через минуту стало холодно. Надел куртку. Выглянуло солнце — снял куртку. Вдруг все завертелось, зазвенело, и я на коленях, как на ринге...

— Надень шапку! — кричит Вадим.

Сунулся в палатку, а там, как в парилке. Это был солнечный удар. Я шел по воздуху и смеялся, как дурак. Вадим достал бинокль.

— На озере никого нет!

Мы, не сговариваясь, взяли спиннинги. Целлофановый мешок с рыбой поставили в тенистую расщелину скалы. Обидно, Садрак и Андроник—браконьеры, ловят сетью, а мы, спиннингисты, от них прячемся. Пока доберешься до их начальства — город далеко, ловить будет некогда.

— Мы ловим, ты наблюдаешь сверху. Поглядывай на гребень, через час меняемся.

Я взял куртку, наган, сумку с блеснами и аптечкой, мешок для рыбы. Они уже прыгали по камням. Я задержался возле ручья, намочил голову, напился — челюсть заныла. Цыплятам ставят два блюдца — со снеговой водой и водопроводной. Водопроводную они не пьют, а из-за снеговой дерутся. У птиц нет родины, весной их зовет талая вода. Опять заныл зуб, боль тихонько подергивает... Где-то летает стриж с крючком в клюве. Когда я пью снеговую воду, ко мне возвращается юность и здоровье, и я верю в здравый разум, верю, что люди не погубят природу. Под кедами скрипел лиловый снег. Я посидел в тени небольшого камня, ноги замерзли, а голову напекло.

— Вот она! — Хрипло-быстро-радостный голос друга.

Он подстегнул меня. Хотелось забросить блесну и почувствовать, как форель вырывает из рук удилище. Мой друг снял с крючка килограммовую форель, поцеловал ее и отпустил. Что-то загадал. У Вадима одна сошла почти на берегу, он не успел ее схватить и крикнул ей вслед: «Живи!» Мы засмеялись. Вадим засмеялся первый. Молодец, он знает себя! Следующую он демонстративно отпустил из рук.

— Торопитесь, скоро появится Андроник.

Засвистели блесны! Мой друг бросал с разбега, всем телом. Серебряный ромбик сверкал высоко над озером и падал метрах в шестидесяти от берега.

— Есть!

— Есть!

И Вадим и мой друг тащат форелей — одновременно!

Обе форели вылетают из воды, делают свечки, кувыркаются. Шесть, семь, восемь, девять свечек... Сбегаю вниз, достаю из сумки друга фотоаппарат.

— Подержи ее на леске...

Навожу на резкость, снимаю форель в полете! Друг плавным рывком выбросил ее на галечный берег, она ударила хвостом по камню, взлетела, шлепнулась плашмя, по ее телу пробежала лиловая судорога, глаза потускнели. Мой друг замер, присел на корточки, положил ее в воду, она безжизненно перевернулась на спину, и мы увидели ее мраморное брюхо...

Я знаю, о чем вы думаете, мадам. Неужели нам ее не жалко?

А вы не едите рыбу? Форель? А мясо? Вы такая упитанная... Неужели зто от вегетарианской пищи? Вчера на обед у вас была жареная свинина. Вашу свинку тоже оглушили. И телятина с неба не падает. Это сделал кто-то другой, вы здесь ни при чем. Вы не смогли бы... Ах, мадам, я посажу вас на траву и молоко, и через неделю вы возьмете в руки дубину. А скручивать головы петушкам вы научитесь за два дня. Бабочка поедает траву, птица — бабочку, человек — птицу или рыбу, а земля — человека. Но зто жизнь. Слава богу, она продолжается. Страшнее, когда человека пожирает счастливая забывчивость.

А форель весной отмечет икру.

«Кстати, замечено мною, что зверь неуклонно силу теряет и рыба в реке пропадает, если хозяин ведет себя слишком стесненно, вдруг почему-то ловить и стрелять забывает». Вы символически умываете руки. А я споласкиваю слизь после того, как снимаю с крючка форель. Размахиваюсь... Отойдите, мадам!

Вадим ловит в тонких перчатках и тщательно вытирает руки тряпкой, чтобы в ранку случайно не попала инфекция — леска режет руки до крови... Вадим вытащил крупную рыбину, самца. Он тащил ее молча, быстро, тихо. Выволок, оглушил, спрятал в тень под камень, сделал точный заброс и сказал: «Зверз!» Там, на другом конце лески, упруго ходила рыба. И мой друг тащил громадную форель. Он не удержал катушку, от рывка форели она бешено завертелась в обратную сторону и до крови ободрала ему пальцы. Леска лопнула... Форель ушла с блесной.

— Жалко,— сказал Вадим.

— Жалко форели,— сказал мой друг.

Вот теперь жалко. От блесны она не освободится. Даже норки ее не съедят, здесь их нет. Мой друг высосал и сплюнул кровь, даже пальцы не забинтовал. Ничего с ним здесь не случится. И в Азии он, как дома. Все чаще его тянет на Восток. Голос крови, что ли?.. После больших праздников, после официальных банкетов, где сияют хрусталь и серебро, выспавшись, он обязательно утром пополает на базар, куда-нибудь в затрапезную хинкальную, где можно поесть руками из засаленной тарелки и выпить из скользкого, захватанного стаканчика. Любит живую грязь, блаженствует в пестрой толкотне где-нибудь в углу, на ящике или возле окна, в которое ветер заносит запах сваленных в кучу гниющих овощей. А вечером он опять выбритый, собранный, в самом добротном фирменном костюме, в льняной хрустящей рубахе и широком шелковом галстуке. Невысокий, плотный, слегка кривоногий, сутулый и в самом деле похожий на вепря — в бровях дикие волосы — вот он стоит надежно на скрипучей гальке и терпеливо распутывает леску. Он выносливее меня, терпеливее, расчетливее. Он научился держать во рту кипяток, расставаться с иллюзиями юности, молча покусывать губы. Он страстный и скрытный, я всегда из вагона, из машины, из кинозала выскакиваю первым, он выходит последним, а в глазах: «Я свое возьму, мое от меня не уйдет»... Я больше его зарабатываю, но всегда у него занимаю. А меня все чаще зовет Север. Там я опять молод, тело крепнет от холода и воля тверда. Даже язва на Севере меня почти не беспокоит. С детства люблю ровную прохладу, грустную лозу, запах реки, холодные валуны в тенистых дубравах. Вадим, наверное, и на юге и на севере — как дома. Он универсал.

Я навел бинокль на моего друга. Вывалив язык, он блаженно расслабился и слепо смотрел на солнце. Сел. Подтянул к себе ногой куртку. Лег на нее. Несколько минут лежал неподвижно, только жирный живот равномерно подымался и опускался. Форель звонко шлепнула хвостом по воде — мой друг сел, на коленях подполз к озеру, окунул лицо в воду, тряхнул головой, поднялся, сделал заброс. Кончик удилища замельтешил в воздухе.

— Есть, сидит!

Смотреть, как другие ловят рыбу — пытка... Наконец мой друг сменил меня. Дрожащими пальцами отрегулировал бинокль.

— Это не повторится...

— Знаю.

Вадим ушел к скалам. Я достал свою хрустальную подвеску. Размахнулся, моя «праща» сработала — блесна тюкнула воду метрах в семидесяти от берега. Медленно подматываю леску, вот-вот ударит форель и оживет мертвый хлыст, натянется, заноет силоновая жила, спружинит сталь тройника. И возникнет живая связь между двумя разъяренными стихиями.

В чем же тайна охоты? Почему она заманивает людей на край земли, в горы, в трясины, черт знает куда? Почему она, как звезда путеводная, помогает не замечать неудобства, холод, однообразную еду? Прозрачная силоновая жила—ноль тридцать пять десятых миллиметра в диаметре. Ловким забросом ты выхлестнул ее через гладкие кольца, и на том конце, в тревожной глубине что-то ожило, напряглось, забушевало. Живая связь с уходящим миром, так и не понятым нами до конца. Может, в зтом тайна? А может, самозабвенная радость — есть еще жизнь в зтой воде?! А может, зхо прошлого, извечная борьба, инстинкт самосохранения, звенящий клич: «Найди врага! Не расслабляйся! Побеждай! Двигайся! Неси зстафету жизни!»

Садрак и Андроник сидели в нашей палатке. Когда мы подошли, Садрак выстрелил из пистолета и продырявил палатку. Андроник выскочил и схватил мешок с рыбой. Вадим оттолкнул его. Андроник навел на Вадима ружье. Мой друг навел ружье на Андроника... Вдруг мы все одновременно поняли, что у кого-нибудь нервы могут не выдержать. Опустили стволы. Андроник залаял хрипло, как лиса:

— Все забираю, больше ловить не дам.

— Ты не можешь ловить сеткой, мы тебе мешаем, поэтому ты бесишься, — спокойно сказал Вадим.

— А ты видел?

— Ты продаешь рыбу. Ты не сторож, ты вор.

— Докажи. У меня нет рыбы, а у тебя рыба. Ты— вор!

— Я ловлю спиннингом, зто спортивная снасть. И у нас есть лицензия.

— А почему ты при мне целый час ловишь одну, а потом у тебя десять?

Вадим бессильно улыбался. Он уже почувствовал, что рыба уплывает. Они заберут ее и продадут. Мы ишачим на двух этих жуликов. Нашли себе работу! Мой друг покусывал губы и что-то жестоко обдумывал.

— Садрак! Вы ловите сетью, мы — спиннингами. Друг другу не мешаем...

— Ну ладно, делим рыбу! — сказал Садрак.

— Нет,— сказал Андроник.

Садрак нехорошо посмотрел на Андроника.

— Делим!

Старый лис улыбнулся.

Мы честно — ха-ха! — поделили рыбу, и они уехали.

— Как ты их! Надо пожрать,— сказал Вадим.

Я пошел вверх по склону за мясом, под ногами заскрипел снег. Странно, только что шел по траве, по цветам и вдруг фиолетовый снег, озноб. Запах... Половина бараньей туши торчит из снега — воняет. Снег подтаял. Надо было закопать глубже.

Кончиками волос почувствовал опасность. Оглянулся. Чуть повыше, за камнем, стоял медведь. Черный, с белой грудью, ростом с меня. Я спокойно повернулся и медленно пошел к палатке.

— Там медведь...

Вадим схватил ружье, щелкнул предохранителем.

— Не надо...

— Я только пугану...

Стальному эху некуда было деться, и оно долго билось о дребезжащие пластинки скал. Я сел на камень и закурил. Я и в самом деле не испугался, видно, медведь телепатировал мне свое миролюбие, а я ему свое. Только сейчас я вспомнил, что все время молча сигналил ему: «Не бойся, я тебя не трону, и ты меня не тронешь...»

Видно, все-таки есть какая-то связь, что-то есть... Во всяком случае, я не почувствовал угрозы с его стороны, все произошло, как во сне. Вадим зло потрошил форель. Молчал. Упустили медведя.

Шкура у форелей крепкая. Ножи притупились и скользили по чешуе. Я до кости поранил руку, повязка соскочила, кровь форели и моя смешались, соль жгла рану, саднили мелкие порезы, сверху палило солнце, говорить не было сил... Сердце стучало. Соль разъедала раны, мы рычали, скрипели зубами и помалкивали. Раздражение нарастало. Любое слово могло вызвать ссору.

На гребне появился всадник. Он пригнал трех коней, стреножил их и уехал. О том, что он из поселка Ахмета, мы узнали позже. Кони паслись в километре от нас. Даже горы стали не такими дикими и чужими.

Горный дубняк долго не разгорался. Облили его керосином. Из синего смрада вырвалось пламя и засверкало на солнце. Солнце жгло, и костер казался нестерпимо жарким.

— Баранина протухла и медвежатина убежала...— Вадим отшвырнул ногой грязную кастрюлю. Она загремела на камнях.— Помой посуду.

Его рубаха намокла от пота в том месте, где солнечное сплетение, я видел только это пятно. Но мне еще не хватало полного права на удар. Я ногой отшвырнул кастрюлю в его сторону.

— Он бы даже ничего не почувствовал,— сказал Вадим о медведе.

Солнце кололо глаза. Мы задыхались от духоты и злобы, голову напекло, жалила соль, руки зудели...

— Идите сюда, скорее! — крикнул мой друг, вылезая из палатки.

Он держал открытую коробку с вермишелью. Коробка тоненько попискивала. Заглянули, а там мышата. Мышь свила в коробке гнездо... Вот умница! Мы уже поняли, что драка все испортит... Спасла мышь! Отнесли коробку в скалы. Сварили полведра риса, вскипятили ведро чая. Сыр в целлофане прокис, мы почувствовали это, уже доедая его. Хлеб скрипел под ножом — засох.

Есть люди, поступки которых почти не зависят от смены погоды, от климата. Но большинство людей живет в соразмерности с фазами луны, сдвигами тепла и холода. Перед грозой рыба перестает клевать, она вяло стоит на дне, на холодных струях, где бьют родники.

Вадим бросает в свою кружку сахар. Девять кусков... А сахар кончается — договорились экономить. На каждого — по три куска в день. Закон джунглей! Черт с ним, делаю вид, что ничего не вижу. Впрочем, не такой уж я добрый — я люблю чай без сахара.

Вечером приехал Садрак, сидел у костра, поглядывал на коней. Ночью началась гроза. Горы сдвинулись и пошли на нас. Молнии жгли воздух, со склонов ползла земля, дико горело небо, глаза болели от вспышек. Мы задыхались от недостатка кислорода. В детстве однажды меня настигла в лесу буря. Она валила деревья. Лесник выскочил во двор, чтобы унести в хату котелок с картошкой, молния ударила в летнюю печку, он упал и лишился речи. Лесник на коленях вполз в хату, тряс головой и мычал... Но эта гроза еще страшнее той бури.

Небо лопнуло! От грома звенело в ушах, как будто мы сидели под огромным колоколом, а по нему били кувалдой величиной с двадцатиэтажный дом. Наша маленькая долина была перенасыщена электрическими зарядами, они с треском жгли черноту. Молнии просвечивали палатку. Горные ведьмы с воем летали над нами, ветер улюлюкал в дырявых камнях.

— А ты когда-нибудь любил женщину больше, чем себя? — спросил Вадим.

Я хотел сказать ему правду, но гроза пошла на спад, и я уже не боялся, что силы небесные ударят в меня пламенем, как в того лесника.

— Нет!.. Я всегда любил свою любовь к женщине сильнее, чем женщину...

Шум падающей воды приблизился, окружил нас, но быстро ослабел. Гроза еле дышала. И мы сошлись на том, что мужчина изменять имеет право, а женщина — нет! И вдали громыхнуло. Мы сошлись на том, что женщина не выносит серьезного одиночества. И опять громыхнуло!.. Мы сошлись на том, что женщины не понимают, насколько мы умнее и благороднее их, потому что им просто не хватает ума понять это. «Зверз!» — выдохнул Вадим, и молния распорола небо. Мы сошлись на том, что женщина живет только настоящим, что мы тысячи лет обожествляем ее, и она умудрилась не разоблачить себя. Вадим был счастлив! Мы сошлись на том, что у каждой женщины есть простой секрет.

— Например, какой?

Я еще ничего не придумал и молчал. Начал на ощупь, вслепую:

— Однажды я сидел в компании — киношники, актеры... И одна там была, все ее охмуряли, да, да, зверз! Все умничали, читали стихи, играли на гитаре, боролись — кто кому руку пережмет. Все в замше, в блейзерах, в черных очках. На съемки ее приглашали. А мой друг мне шепчет: «Она тебе нравится?» «Да». «Пей и молчи. Молчи и поглядывай на нее изредка». Я был небритый, в каком-то зеленом свитере. Меня перед этим обокрали, все унесли. Я весь вечер сидел, пил вино и молчал. И вдруг она мою руку под столом берет. Мы встаем, и она говорит: «Мы уходим». Они озверели. Потом как-то сразу

увяли. Мы ушли. Оказывается, она убеждена, что настоящий мужчина должен молчать. Кто молчит, тот думает, кто молчит, тот не хвастун, мужественный человек.

— Зверз! Познакомь, а? Я буду молчать.
— Потерял телефон.
— А из-за тебя женщины дрались?
— В буквальном смысле?
— Да, физически... Кулаками, ладонями, ногами, сумками...
— Дрались!
Я закусил губу, чтобы не расхохотаться.
— Чего ты дрожишь?
— Мне холодно.
— А вены резали?
— Резали!
— Ты не врешь?
— А тебе ведь все равно.

— Зверз!.. Кто же они все-таки? Они любят равенство, да? И уважение. С ними надо серьезно советоваться, обсуждать всякую ерунду, вести себя солидно, помалкивать, это ты верно заметил. Надо шутить, делать вид, что тебе интересно, когда ей интересно. И не раскрываться. Они не понимают вечности, беспредельности, их не волнует пространство, поэтому им легко дается алгебра, химия. Почему H_2O, почему а + б равно с? Потому что H_2O, потому что равно с. Они мыслят от и до. Конкретными категориями.

— Вадим, ты много ловишь, ты устал. Ты заговариваешься...
— Дай досказать. Мы — их рабы! Мы думаем, что мы их обманываем, но уже потому, что мы пытаемся их обманывать, мы обмануты ими. У них колоссальный инстинкт самосохранения. Ты не знаешь, что с тобой случится, а они уже знают. Чувствуют шкурой, губами, пятками. И убегают. Попробуй посмотреть на себя их глазами — трезво. Не сможешь, потому что не захочешь.
В горах было тихо.
Мой друг проснулся, отхлебнул черного чая, сплюнул, затряс головой.
— Перестаньте,— сказал он,— а то ударит в палатку.
— Уже прошла.
Вадим хихикнул:
— А ты что думаешь о женщинах?
— Что я думаю? Я дилетант, это вы профессионалы, а точнее — ты.
— А он? — Вадим кивнул на меня.
Мой друг неопределенно хмыкнул.
— Он крупный теоретик.
— Не понимаю,— медленно сказал Вадим и, затаенно улыбаясь, попросил меня: — Расскажи о них что-нибудь хорошее.

И тут же почувствовал, что я его понял, мы засмеялись.
Вадим надел резиновые сапоги, взял фонарик. Вернулся спокойный:
— Сегодня будет жуткий клев, вода насыщена кислородом.
— Дай пару блесен.
— Ловлю последней,— ответил Вадим.
— Все равно рыбу — поровну.
— А что ты с ней будешь делать? — спросил Вадима мой друг.
— Ну, гости, друзья...
— И дела обтяпает...
Вадим обиделся, засопел.
— Тогда и медвежатина не помешала бы,— сказал я.
— Вас двое, я один...— ответил Вадим.

Я вылез из мешка — холод сжал тело. После дождя на небе всегда больше звезд. Заржала лошадь, щелкнула камча, зашлепали, застучали копыта...
Утром лошадей возле озера не было.
Угнали!..
Сахар и хлеб подмокли. Облили керосином ящик, согрели чай, мой друг выпотрошил несколько рыб, вывалил на раскаленную сковороду форелевые печенки, перемешал. У меня рот затек слюной. Мы хищно расхватали ложками дымящееся варево. Глотнул чаю и обжег рот. Ждать некогда — напьюсь из озера...
Стоп! Что за жалкая спешка? Я заставил себя сесть и дождаться, пока чай остынет. Выскреб коркой сковороду, друг выхватил ее у меня из рук. Вспомнился послевоенный детдом...
Мы уже шли, бежали вокруг озера.
— У нас в детдоме после ужина не давали пить.
— Почему?
— Чтобы простыни были сухими, старшая няня придумала...
— Догадливая, дрянь!..
— И я тоже рос в детдоме,— сказал Вадим.— Я был тонким и гибким, как змея.— Он похлопал себя по мускулистой груди.— Старшие прорыли под складом щель. Я пролез... Они меня заставили. Четырнадцать пар валенок и шестнадцать мешков отрубей проезжему шоферу продали. Потом дело открылось, они свалили на меня. Мне грозила трудколония, а я был отличником. Но я боялся их. Сказали: «Прирежем, если продашь...» Я молчал.
— Как же ты выкрутился?
— Придумал кое-что. Потом расскажу.
Я знал, что не расскажет... Размах. Золотая траектория блесны. Удар. Рывок. Вышла наверх. Делает свечку. Удилище скрипит. С трудом подматываю леску.
Форель с открытой пастью извивается в прозрачной воде. У нее во рту горит блесна. Форель выскальзывает из рук и падает между камней. Сдвигаю широкий плоский камень — под ним настоящий погребок, просторно, холодно. Кладу рыбу, задвигаю камень, намечаю свой тайник. Меняю блесну. Размахиваюсь...
— Ты доволен,— кричит Вадим,— что приехал на это озеро?
Второй раз спрашивает.
«Ты счастлива, ты довольна?» Чей же это голос? Явственно слышу его: «Что мы тебе привезли, что мы тебе купили». На нашей лестничной площадке жила девочка, сирота. Работала в котельной. Старшая сестра и ее муж купили младшей пальтишко за тридцать пять рублей, в общем, тряпочку с медными пуговицами. В Прибалтике хорошо шьют. И весь вечер рассказывали, как купили. И все спрашивали: «Ты довольна?»
Бедняжка зло поглядывала на своего жениха, вот, мол, какие они хорошие, не чета тебе. Через полгода поженились. Старшая сестра стребовала тридцать пять рублей. Муж младшей ездил со мной на реку и рассказал мне об этом.
Я вдруг представил, как взимаю с младшего брата тридцатку за брюки или за туфли, и быстро отогнал это видение.
Но я заставил себя думать об этом и все подробно вообразил, все по порядку — как я ему говорю, что он мне должен тридцать, как беру деньги, целую его, шучу.
— Сука! — сказал я сам себе и обрадовался, что это не я.
Вспомнилась другая семья. Утро и воробьи. Чикчирик, чик-чик-чик, костюмчик, мальчик, огурчик... Тоже не бедные, приезжали на своей машине. Дом

заполнялся хохотом, жирными чмоками, уменьшительно-ласкательными суффиксами, визгом их капризной и коварной сучки. Меня трясло, как волка от запаха псины, от беспричинного хохота, от советов «не бери в голову», от верткого любопытства: «А что за скандальчик с Н..? Его теперь будут печатать?» «Будут, уже напечатали». «Не может быть!..» И сразу — разочарование в голосе, безразличие в глазах. «Мамуля, вот тебе два карпика». «Спасибо, сколько я тебе должна?» «Да что ты, ерунда, два сорок...» Берет у матери два рубля с мелочью. Уехали... Спрашиваю: «Как же так, они у вас два рубля с мелочью взяли. А еще говорите, что они добрые». «Они добрые, но... хозяйственные»,— отвечает мать. Нашла слово! Оправдала. Я целый год снимал у этой женщины комнату.

— Почему не ловишь?

На плечо легла тяжелая хищная рука Садрака. Спрашиваю:

— Что у тебя в сумке?

Садрак открывает сумку — хлеб, сыр, большой кусок мяса, бутылка вина, зелень...

— Мы хотим мяса...

Заставляю себя нагло смотреть ему в глаза, забираю весь кусок, достаю бумажник, вынимаю трешку.

— Не надо.

Садрак торопливо отводит глаза. Ему стыдно за меня.

...Прости, Ашир!

— Тогда я и вино возьму.

— Бери!..

— А сыр?

— На!

— Я заплачу.

— Тьфу!

— Ты лучше их.

— Кого?

— Ты их не знаешь.

Садрак пожимает плечами.

— Андроник гад!

Он подумал об Андронике. Садрак неподвижно сидит на камне, смотрит в одну точку. Подошли Вадим и мой друг. Первый раз говорим спокойно. Садрак искренне лукавит... Он ничего не имеет против нас. Спиннингами здесь ловить можно. Андроник это знает. Но ему выгодно это не знать. Сюда приезжают ловить спиннингами, но больше пяти никто не поймал.

Не умею... Садрак хвалит Вадима, меня, моего друга.

— Когда мы будем уезжать, спиннинги мы оставим Садраку, ладно?

— Ладно!

Мой друг сказал, что отдает ему свою куртку.

Садрак назвал Андроника вонючей лисой и плюнул.

— Кто увел лошадей? — Я спросил неожиданно.— Это твоя работа...

— Нет,— быстро ответил Садрак.— Это друзья Андроника. Он вор. Лиса. Шакал. Тьфу!

Вечером мы засолили рыбу и отнесли ее в скалы. Тушки были крупными, как раз по диаметру мешка. Из нескольких форелевых голов сварили ведро ухи, она остыла, и ложка стояла в ней торчком. Сварили кастрюлю риса, подогрели чай.

— Ты заметил,— сказал мой друг,— что Вадим слово «доро́гой» произносит с одинаковой интонацией, на восточный манер, даже когда обращается ко мне, к тебе? И зачем ты ему рассказываешь все эти небылицы?

— А ты не спишь?

— Иногда сплю, иногда тихо лежу, слушаю. Он тебе не верит.

— Знаю. А слушает с радостью. Я ему высказываю его мысли. Сам он вслух никогда их не выскажет.

— А зачем?

— Трудно объяснить. Мы одногодки, все росли на развалинах, плохо ели. Он выжил, победил, утвердился. Он все делает хорошо. Все у него есть, квартира, машина, а на морде обида. Он ведь не женщинам не верит. Он не верит людям. Чего-то ему не хватает. Может, слабости... Могучей человеческой слабости... Он хотел, чтобы его любили за силу. Его за это полюбили, а потом показали свою силу. Он ведь не шутит, когда говорит: «Нельзя им открываться, показывать слабину. Сразу в слабое место ударят».

Глаза моего друга спрашивали: «Ну, а ты зачем хочешь быть хуже, чем ты есть?»

— Мы ведь не о женщинах говорим. Мы толкуем об одном типе. Всеядные, проворные, они знают, чего хотят. Он их ненавидит, и я с ним солидарен. Только он обобщает, как тот дед, помнишь, на Карабановском озере: «Мясо вкусней, рыба тиной воняет». Он приспособился там щучек ловить, на реку не ходит, далеко. Озеро заросло тиной. Что ловишь, то и поймаешь. Мысленно мы все совершаем что-то дурное для профилактики, чтобы не совершить на самом деле. Представил что-то дурное и выдохнул радостно — это не я. Так я не сделаю. В старину это называлось изгнанием беса.

— А может, он тоже беса изгоняет? — спросил мой друг.

— Сам он бес. Ладно, черт с ним! Эта жара меня добивает.

— Да, ты всегда боялся жары.

— Моя язва любит ровный холод. Поедем в июле в Карелию?

— Не смогу.

Я смотрел на своего друга и думал: «Что тебе стоит согласиться? А потом, если обстоятельства не позволят, объяснить причину?»...

Вадим подошел тихо. Спросил:

— Чай горячий?

А глаза его спрашивали: «Что вы тут обо мне говорили?»

— Соль кончается.

Вадим выкатил из-под своей раскладушки две глыбы каменной соли, изрезанной синими известковыми жилами.

— Надо перемолоть. Дорога раскисла. Из поселка не приедут.

— Перемелем.

— До обеда — вы, после обеда — я...

Он сообразил мгновенно. До обеда мы соль перемелем и еще обед приготовим, а после этой работы ловить уже не захочется. Пусть ловит... Больше я не хочу ловить. «Хватит, забава уже переходит в безумие, всякая радость здоровая любит пределы»... Буду ловить одну-две форели в день.

И все.

Над нами уже сверкали звезды. Стало холодно, от резкого перепада температур заныло сердце. Я надел свитер и шерстяные носки, выпил чаю. Озноб прошел. Я лежал в спальном мешке и смотрел в огонь. На костер можно глядеть часами, ни о чем не думая, не напрягая воображения — пламя сильнее его, все время меняется, завораживает, не отпускает твои глаза, и ты уже не сопротивляешься этому живому самозабвению. Сидит человек на обочине полевой дороги — ты пройдешь мимо. Стоит

человек ночью на берегу реки — ты пройдешь мимо. Но если у костра — ты подойдешь к нему. Загорается костер, и оживают законы жизни первых людей на земле. Если ты устал за день, у костра тебе кажется, что ты живешь очень давно, чуть ли не с первого дня творения. И все твои насущные заботы, все хлопоты отступают перед пламенем. И тобой овладевает нечто более высокое, чем твое точное определение окружающих событий и предметов. Привычная ориентация в пространстве не удовлетворяет тебя. И ничего в этом пламени ты вроде бы не видишь, можно, конечно, придумать всякое: лесной пожар, война, Рембо на горящих баррикадах. Но все это жалкий домысел изворотливого ума...

— А была у тебя беззаветная любовь? Такая, чтобы дым изо рта и ничего не жалко?..— спросил Вадим.

Мой друг демонстративно захрапел.

— Женщины — как форель, помнишь ту, которую упустил.

— Расскажи...

— Набери воды, чай вскипятим...

Вадим взял ведро и пошел к озеру. Ночью камни скользкие, ведро загремело, он выругался, видно, ударил ногу. Вернулся, укоризненно вздохнул.

— На Речном вокзале мелькнула... Шаг не мелкий, не семенящий, а широкий, легкий, точный. Летящий шаг! И глаза, как водовороты. Втягивающие, понял?! Ветер заголил ее ногу, смуглую.

— Зверз!

— И стало мне тревожно. Она оглянулась. Я за ней... Толпа отбросила меня, как щепку. Было воскресенье. Я — ножом в толпу! И опять меня отбросили куда-то к ларьку. Я увидел ее на мгновение, и она так посмотрела, словно тонула. Нас завертели людские воронки... Она беспомощно улыбалась. Меня выбросило где-то возле кассы. Толпу не осилишь. Надо было что-то крикнуть. Условности, стыд... Это было лет пять назад — до сих пор забыть не могу. Мелькнула, пропала... Теперь кажется, что она была мне судьбой предназначена, а я ее упустил.

Вадим расшевелил костер. Искры осыпали нас. У каждого костра свой запах, свой шум. Это был отчаянный, жадный костер...

— А если бы вы встретились? Может, она отравила бы тебе лучшие годы! Может, она довела бы тебя до неврастении. Может, она предала бы тебя, бросила больного, отсудила бы у тебя все, обобрала и ушла. А вот мелькнула — и забыть не можешь. Понимаю. Зверз! Из детдома их брать, что ли? Ведь ни хрена не ценят. Мы — дети развалин; брюкву выдернешь, обтер об штаны, землю сплюнешь и жуешь. Теперь жить стало лучше, а люди стали хуже. Мы сравниваем то, что есть, с тем, что было, а они — то, что есть у них, с тем, что есть у подружки, у соседки. Это новое поколение?..

— Ну-ка обожди, стой, ты спишь под простынями? Друг, проснись, посмотри, у него простыни. Накрахмаленные! Мы как договорились? Берем самое необходимое. Мы тащили рюкзаки...— возмущался я.

— А для меня зто — необходимое.— Вадим сидел на раскладушке и втирал в лицо какую-то мазь. Приторный запах мази меня раздражал.

— А но-шпу ты зачем глотаешь?

Вадим запил таблетку.

— Чтобы спазмов в желудке не было. Здесь все-таки тяжело, целый день машем спиннингами, камни ворочаем. На, выпей.

Запах мази выветрился из палатки.

— Вадим, я тебя не люблю.

— Знаю.

— Но бывает — люблю.

Мы лежали молча, и я думал о нем. Телеграмма «Светочке Голубцовой...» Забрал у моего друга кеды... Мазь, перчатки, простыни... Зато он таскает на себе тяжелые мешки, ведет переговоры с Андроником. Он нашел зто озеро. Он делает заброс на 70 метров! И на лошади сидит, как горец. Думаю, что и в драке он меня одолеет. Я не удержу его на дистанции, он повалит меня и добьет ногами. Где-то он прошел хорошую школу. И рыбу он солит надежно, без брака. И блесны подобрал безотказные, ловит больше нас. Он любит горы, дикие реки, опасные дороги, охоту. Он любит Тютчева, Блока. Но в телеграмме написал: «Светочке Голубцовой». Неужели он не чувствует, что это фальшь! Конечно же, чувствует... А случись что-нибудь над пропастью или в горной реке, он не растеряется, поможет. Удержит на весу, рука у него сильная. Точно бросит веревку. Другой захочет помочь и не сможет, растеряется, струсит. А потом будет всю жизнь вспоминать и оправдываться. Сопьется, изведет сам себя... А Вадим быстро оценит обстановку, в одну секунду. Все взвесит. И если будет очень опасно, рисковать не станет. Но уж если он отступит, другому там вообще делать нечего, только себя погубит.

Холодно. Над головой друга белесое облачко — живет, дышит. Сердце торкается в ребра, барахлят сосуды, не успевают перестраиваться. Надо вылезти из мешка, разогреть чай. Как все-таки мы зависим от природы!

Сыплется, сыплется мелкое стекло, звенит... Вадим смеется.

— Эй, что с тобой?

— Да так, детство.

— Что тебя рассмешило?

— Детская мысль. И вот сейчас... Это от холода. Если бы...— Вадим трясется от холода и смеха.— Если бы на Куликовом поле появиться с двумя хорошо смазанными пулеметами. Даже с одним «максимом» можно было весь мир завоевать.

Дурацкий смех. Он уже трясет и меня.

— С «максимом» нет, а вот на танке запросто.

— Идиоты, женщинам, которых вы развенчиваете, такое в голову не придет,— сказал мой друг.

— А если бы мы втроем завоевали весь мир, а? Ты бы завел гарем?

— А ты нет? — спросил я.— Почему ты о «максиме» подумал?

— Холодно. Я представил, как в старину воевали. Зимой в латах. Голова, спина, живот, все в холодном железе, бррр!

— Ерунда, они были в меховых одеждах. Доспехи тяжелые, потаскай их на себе, попробуй. Из зтого железа шел пар!

— Вадим, у тебя появились опасные мысли. Ты много ловишь, устал.

— Ничего, я выдержу.

Утром Вадим ушел, а мы расстелили кусок старой, но чистой простыни, я захватил ее вместо скатерти. Мы обмыли глыбы соли в озере и раздробили их. Выковыряли ножами известку. Нашли два широких плоских камня и два маленьких, снизу плоских, а сверху неровных, чтобы рука влипала. И началось... Левой рукой подгребаешь соль на плоский камень, правой беспрерывно крутишь — правая мелет, левая подгребает... Скрежещут камни, солнце обжигает через рубаху, соляная пыль разъедает раны, забивается в рот. Глаза слезятся. Руки горят. Мой друг морщится, втягивает сквозь сжатые зубы воздух, плюется, размазывает слезы, рычит. Руки горят, пот течет по животу, раны и ссадины чешутся, зудят. Пальцы правой руки немеют. И вот я уже слаб, зло-

бен, мрачно-циничен... «Добытчик» ловит, а мы, как рабы, крутим жернова.

— Соль некуда ссыпать, я возьму его простыню.

— Не надо, завоет.

— А ты уже воешь. Возьму.

— Не надо.

— Тоже мне, белый человек, носитель цивилизации...

— Ладно, возьми его наволочку.

Встаю, словно разрываю мышцы — ноги затекли, онемели... Жарко, а колени застыли — земля ледяная. Радостно срываю его наволочку, аж пуговицы отлетают, ловлю себя на мысли, что меня одолели дрянные чувства. Вытаскиваю ящик, складываю в угол коробки с сахаром и вермишелью, закрываю их плащом. И опять правая рука вращает камень, левая подгребает соль. Боль, зуд, пот, жара. К черту, перекур!..

Мы забинтовали друг другу пальцы, покурили. Все равно соль пробивается сквозь бинт, жжет!.. Камни скрежещут, растет горка грязноватой соли. Солнце вонзает в затылок огненные стрелы, так с вертолета бьют волков, хоть пластайся, хоть юли — не уйдешь.

— Принеси его простыню, сделаем навес.

В палатку невозможно сунуться — раскалилась, звенит. Сделали навес, тень — дохлая, белесая, но все-таки тень. Лежать на земле нельзя, заснешь — проснешься калекой. Холодильник и пекло одновременно. Работаем молча, уже пол-ящика соли... Друг достал фотоаппарат, снимает. Снимки будут хорошие, я не обращаю на него внимания. Душно... Горят руки. Обмываем в озере новые куски, измельчаем осколки и крупные кристаллы, отгребаем помол. На солнце наползла чернильная туча, снега вокруг стали фиолетовыми. Некогда любоваться! Быстро вытаскиваем из палатки раскладушки. Эти минуты нам нужны для отдыха. Лежим, курим. Для полного блаженства надо промыть ссадины. Быстро бегу по острым камням к озеру и ударяю ногу. Споласкиваю ссадины, освежаю лицо, рот, ковыляю к раскладушке, опять соскальзываю с камня и ударяю лодыжку. Полного блаженства не бывает! Лежим, курим... Когда-нибудь время своими жерновами размолотит, перетрет эти горы. Что здесь будет через миллионы лет? Может, и земли уже не будет. Что толку оплакивать каждую срубленную березку? Лишь бы не зря. Надо видеть дальше леса. У каждого века свои издержки...

Лопнуло небо, реактивный самолет прошел звуковой барьер. Дикая природа сделала свое дело — самолет на мгновение потряс меня... Показался чудом. Да, время строит мост к новой звезде — очень далекой, живой. Мы не совсем еще верим в это, хотя уже побывали в космосе.

— Садрак и Андроник едут к нам.

Садрак улыбается...

Достает из сумки сыр, масло, зелень.

— На...

— Это мне?

— Да!

— Почему мне?

За спиной Андроника на лошади сидит Вадим.

— Садрак полюбил тебя... И Андроник завтра привезет баранины. Андроник, ты привезешь?

— Да... Иди, лови,— говорит мне Андроник.

— Делай вид, что так и надо,— шепчет Вадим.

Мой друг покусывает губы.

Беру спиннинг, смотрю на Вадима.

— Бери большую сумку для рыбы.

— Бери...

Это голос Садрака. Что ему сказал Вадим? Садрак на лошади догоняет меня.

— Садись. Не бойся, конь тихий.

Садрак несет мой спиннинг, ведет коня.

— Приезжай еще,— шепчет Садрак.— Один приезжай, будешь ловить, сколько захочешь. И медведя будем стрелять.

— Я не стреляю в зверей.

— Я буду стрелять, домой шкуру увезешь и мясо.

Что же ему сказал Вадим? Вчера при Садраке он обращался ко мне с подчеркнутым уважением, что-то поднес. И с рыбалки я шел налегке. Язва придавила. Садрак видел, что я иду без груза, и он решил, что я пользуюсь какими-то привилегиями. И спросил у Вадима — кто я... Вадим ему что-то сказал. Черт с ними! Делаю заброс.

— Не торопись, крути медленно,— говорит Садрак, не глядя на меня.

Я перестал крутить катушку, и мы засмеялись. Блесна зацепилась возле берега. Надежный зацеп. Садрак быстро раздевается, лезет в ледяную воду. Бугрятся черные мускулы. На ягодицах наколки: на левой — мышь, на правой — кошка. На спине прыщи, синие драконы, ножи, голые женщины. Блесна спасена. Садрак прыгает, вытряхивает воду из уха. Отхожу от Садрака метров на пятьдесят. Делаю заброс. Толчок... Взяла блесну и сразу сошла. Удар! Второй раз взяла. Еле сдвигаю ее с места. Несколько могучих рывков — громадная форель вылетает из воды и плюхается так, что, наверное, на том берегу слышно.

Я запомнил ее пятна и черную спину. И ее разинутую пасть! И ее развернутые плавники, ее могучие винты! И ее желто-мраморное брюхо! И ее перламутровые жабры. И ее прощальный рывок... Что-то обожгло ногу. Я закричал... Нога горела. Блесна, как из катапульты, вылетела из пасти, и тройник впился в правое бедро. Я бросил спиннинг, выхватил нож, рассек кожу и, бессмысленно ругаясь, вытащил тройник. Я всегда ношу с собой йод. Это спасло меня. Якорь задел вену. Кровь шла густо. Кровь за кровь! Все правильно. Садрак хотел мне помочь. К черту! Еще внесет инфекцию. Сначала я закрыл рану, потом дал ему бинт. Он туго зажал бедро. Нога онемела. Я сел. Голова кружилась. Бинт намок кровью. Я полежал с поднятой ногой, остановил кровотечение... Садрак грозит озеру кулаком, ругает форель. Делаю заброс, второй, третий... Сидит! Гнет удилище, бешено мчится на меня, еле успеваю подматывать леску. Прет на меня — потеряла ориентацию, ополоумела. Ногой чувствую ее боль. Сама вылетела на берег. Но это не та, эта обычная, средняя. Садрак оглушает ее, словно мстит за меня.

— Вот тебе!

Он знает, что я понимаю его игру, но не смущается.

Оглядываюсь. Вокруг холодно сверкают горы, в распадках колышутся мрачные испарения. Грустно и хрипло кричат селезни, летящие над озером. Я совсем забыл о своих делах, о жизни, которую вел в Москве. Здесь мы живем одновременно в нескольких столетиях: в двадцатом — спиннинги, целлофановые мешки, газеты недельной давности; в девятнадцатом — керосиновая лампа, свечи; в восемнадцатом — изобилие рыбы, дичи. Садрак на лошади — единственная связь с миром; и даже в седьмом, в шестом — камнями размалываем соль, с трудом разводим костер, горный дубняк, твердый, как железо, не хочет гореть, а керосин кончается. И в каменном, пещерном веке — едим сырую рыбу, пляшем у огня от радости, дрожим от холода, от жары, от азарта, от невозможности поделиться этой красотой со всем миром, ну хотя бы с теми, кто поверит нам, а главное — поделиться с будущим. Большие радости до-

водят меня до отчаяния, чем я счастливее, тем острее ощущаю непрочность своего счастья, своей жизни и вообще всей Земли, летающей на удачном расстоянии от Солнца. Ей крупно повезло. На миллионы километров ближе, дальше — и никого и ничего бы не было...

Ночью с той стороны подул ветер и принес грозу. Мы закрыли палатку. От керогаза шел едко-синий смрад, мы очумели и ослепли. Мой друг ногой вышвырнул его из палатки. Поели всухомятку. Вадим «делал» деньги — резал бумагу и писал: «1 рубль», «3 рубля», «5 рублей», «10 рублей»... Мой друг тасовал колоду. Игра началась под грохот грома и рев воды. «Три!» «Еще три!» «Три и десять сверху!» «Десять сверху и закрываю!» «Две пары», «Стрит», «Стрит», «Мой выше»... Весь банк у моего друга. «Три и двадцать сверху». «Я — пас...» «И я — пас...» Банк мой. «Что у тебя было?» «Ничего». «Зверз». Ветер срывает полог, бумажные деньги сквозняком вытягивает из палатки в темноту. Коптилка гаснет. Закрываем палатку, подвешиваем фонарик. Вадим «делает» новые деньги.

— Билеты я вам куплю,— говорит он.

Оказывается, игра идет всерьез, банк растет.

— Каре! — говорит Вадим.

Играем в долг. В палатке холодно. Уши заложило, голоса звучат, как в трюме. Холодно... Механически сбрасываю черную масть — красная теплее. Флешь-рояль! Говорю:

— Пас.

— Тридцать сверху,— говорит Вадим.

— Что у тебя?

— Флешь-рояль.

Банк мой. Небо с треском рушится на нас. Мы задыхаемся и глохнем. Под ногами вода. Подтекаем...

— Надо сматываться,— говорит Вадим,— начинается сезон дождей. Пойду проверю рыбу...

Он ныряет в грозу. Опьяняющий холод заполняет палатку, кружится голова, ноет сердце. Подкатывает тошнота. Кажется, «проснулась» моя язва. По небу быстро расходятся белые трещины.

— Палатка ползет к озеру...

— Не может быть!

— Ящик развернуло, он стоял вот здесь. И посуда дребезжит. Смотри, сдвинулась.

— Вместе с землей ползем!

— Мы и в самом деле ползем, смотри, ящик разворачивается.

— Подрагивает... Скорее бы утро...

— На всякий случай — двое спят, один дежурит.

Я залез в мокрый мешок, голова болит, ноги и руки дрожат. Спиной почувствовал, как ползет моя раскладушка. Глотнул из бутылки, которую нам оставил Садрак,— обожгло. Озноб прошел. Ветер шумит ровно, безнадежно. В палатке пахнет мокрой землей. Раскачиваясь, слабо светит фонарик.

— Почему ты развелся? — шепотом спросил Вадим.

Я молча вспомнил наше северное лето.

Но это уже не для Вадима, это и в самом деле было... Мы шли на байдарках по Энго-озеру, потом по маленьким озерам добрались до светлой, холодной Воньги. Одолели двадцать три порога. Вязли в болотах. Тащили лодки на себе, вслед за нами тянулись красные полосы от раздавленной клюквы. Мошка не давала дышать. Но за камнями, на ледяной стремнине, стояла кумжа. Под водопадами играла палия, и я видел ее розово-голубое брюхо. Белые ночи околдовали нас, и я слышал, как плачет воздух над остывающим озером. С моря налетали ветры.

— ...Ты не спишь? — спросил Вадим.

— Нет.

— Так почему ты развелся?

Я молча вспомнил, как дожди заливали наш островок. Дожди доводили ее до отчаяния, они задержали нас. Мария боялась опоздать в Болгарию. Мы неслись, как на гребном канале. Закаты и рассветы стекали с наших весел... Как и сейчас, лежим в палатке, подтекаем. Опять обступили дожди. Над спальным мешком белое облачко дыхания. Все раскисло, настыло, слиплось. Звенят комары. Шумит лес. Низко летят облака. Ветер уперся в палатку, давит, студит. Говорю Марии:

— Давай споем «Врагу не сдается наш гордый «Варяг».

— Я не знаю слов...

— А что ты знаешь о «Варяге»?

— Знаю, это корабль такой.

— Что за корабль?

— Ну, на нем были герои.

— Какие герои?

— Революционно настроенные матросы.

— И дальше что?

— Их окружали враги.

— Какие враги?

— Белогвардейцы, юнкера.

— И что дальше?

— На «Варяге» подняли красный флаг. Все погибли, сражаясь. А потом песня родилась.

Лежим, молча слушаем ветер.

Маленький каменный островок в центре серого, измятого ветром озера...

— А ты читала о «Потемкине»?

— «Потемкине»? Ах, это я его с «Варягом» спутала.

— Да, это «Потемкин» А о лейтенанте Шмидте знаешь?

— Он командовал «Потемкиным», да?

— Нет, «Очаковым». Так чем же он прославился?

— Единственный лейтенант культурный, который восстал.

— В каком году?

— Кажется, в шестнадцатом?

— Немного раньше.

— Ох, извини, я все забыла. В общем, он выступал за революцию. Ну, не злись. Иди сюда, моя радость. Ты меня любишь?

Вылезаю из палатки, подсовываю бумагу под мокрые дрова, дую... Все сырое, мокрое, скользкое — не горит... Пламени не за что уцепиться. «Это я его с «Потемкиным» спутала...» «Неужели так близко от Москвы?..» «На наш век хватит...» «Не бери в голову...» «После нас хоть трава не расти...»

Колени намокли, настыли. Дую, раздуваю, не горит... Быть счастливым очень просто — надо забывать все, что мешает быть счастливым.

Утро было серым, тихим, затаенным... Мы разбили ящики и выплеснули на них остатки керосина. Занялось пламя, высокое, в рост человека. Обсохли, вскипятили чай. Хлеб раскис. Поели сырой рыбы, выпили чая без сахара. Одежда, сумка, снасти — все было мокрым, холодным. Мы понуро пошли к месту ловли. Я достал из сумки последнюю блесну. Сделал заброс. Ток пробежал по леске и ударил меня в руку. Форель саблей вылетела из воды! Вдруг леска провисла. Я быстро ее подмотал и осмотрел блесну. Стальной тройник не выдержал, один крюк отломился. Я надел новый тройник, посмотрел направо — Вадим тащил форель. Лицо его было бледным, сосредоточенным. Посмотрел налево — мой друг остервенело резал ножом спутанную леску. Бросил удилище, побежал, разматывая с кассеты но-

вую леску, споткнулся, уронил очки, поймал их на лету и обрадовался; увидел, что я смотрю на него, крикнул: «Еще не вечер! Вот она!» Вышло солнце, натянутая леска засветилась, форель вылетела и тяжело шлепнулась в воду, мой друг, пятясь, выволок ее на берег. Вадим далеко послал блесну... За спиной Вадима шевелился мокрый мешок с форелями. Я прошел к скалам, сделал пробный заброс. Чернолиловая форель взяла в десяти метрах от берега. Здесь глубоко, и окраска у них темнее. Кажется, это самцы. В глазах рябило от лиловых точек, казалось, ими забрызган воздух. Форели сильно пахли свежими огурцами. Вдруг я увидел родные обрывы Днепра, огороды, огуречные грядки, заборы, заросли крапивы... Нежность подкатила к горлу. Меня всегда волнует сырость, запах палых листьев — печальный привет тех, кого уже нет... Я тряхнул головой. Видение пропало, но в горном небе возникло узкое лицо моего младшего брата. Он улыбался и морщился — слепой от солнца. В его рыжей бороде вспыхивали синие капли воды. Облако отбросило тень на его лоб. Брат был в расстегнутой белой рубахе, но я знал, что это снег на вершине горы. Я услышал плеск. Форель выскользнула из мешка и, елозя по гальке, добралась до воды. Ее голова еще была на берегу, но хвост уже развернулся... Я протянул руку. Форель почувствовала родную стихию и загребла воду хвостом. Только я ее и видел! Лицо брата улыбалось. Это он ее отпустил! Значит, так надо.

Вдруг я понял, что никогда уже сюда не приеду. Будут другие озера, реки, водоемы...

Я сделал несколько прощальных забросов. Форель резко остановила блесну. Вылетела — замерла в воздухе, трепеща плавниками. Такой я ее и запомнил — вертикально висящей. С ее черной спины стекало солнце... Потом она металась в воде, но светлый луч неумолимо тащил к берегу. Я осторожно прижал ее к гальке, освободил от якоря, поцеловал в прохладные губы и отпустил. Холодное сильное тело выскользнуло из рук. На душе было неспокойно. И не только у меня. Вадим попросил сигарету. Он не курит. Прикинул на глаз мой улов. У него было больше, но радости в его глазах не было.

Мы посидели на холодных камнях. Подошел мой друг. Все мы заросли, обтрепались, постарели. Но, может, это мне показалось, потому что солнце зашло.

Чабаны гнали овец в поселок. Мы передали им записку для Ахмета, попросили, чтобы он пригнал для нас лошадей. Мы быстро пошли к палатке. Вытащили из скал рыбу. Дележ начался весело. Мы выхватывали друг у друга самых крупных, первого засола.

— Я имею право на бо̀льшую долю,— вдруг серьезно сказал Вадим.— И чемодан у меня больше...

Мы переглянулись.

Вадим обиженно улыбался. Почувствовал, что мы расстаемся, решил взять побольше, и адье? Привезет, раздарит, сделает свои дела... Нет, это не жадность. Что-то он хочет восполнить бо̀льшей долей, какую-то потерю...

Друг вылез из палатки с бутылкой вина. Он вел себя так, словно не слышал о бо̀льшей доле.

— За отъезд!

Прощай, озеро в небе. Прощай, одинокое! И в самом деле одинокое: ни дорог, ни людей... Садрак и Андроник не в счет.

Друг снова наполнил стаканы, спросил у меня:

— За что выпьем?

— За женщин! Они терпеливее нас. Они тоньше чувствуют фальшь. Они даже позволяют нам лгать, когда мы хотим стать лучше. Женщина ни с того ни с сего заплачет, а через неделю приходит похоронка. Они живут в вечном страхе — за сына, за мужа. Сынок болен; сынок в походе, а ночью дождь пошел; сынок в армии; сынок женится; сынок плохо спит...

— За женщин!

— Зверз!

Мы выпили. Мелькнуло перед глазами: худая, облезлая кошка вылезла из подвала. Я ей бросил из окна кусок колбасы. Она его проглотила. Вдруг из подвала два пушистых котенка выскочили и смотрят ей в глаза. Один мяукнул. Она отрыгнула колбасу... И ничего в этом неприятного не было. Это было прекрасно! Друг разлил остаток вина.

На гребне хлопнул выстрел, показались лошади.

— Некогда болтать, за дело.

Мы допили вино.

— Значит, тебе бо̀льшая доля?

— Да. Если бы не я...

— Хорошо, только ответь: почему Садрак воспылал ко мне любовью?

— Очень просто, дорогой, я сказал, что ты капитан милиции.

Вадим хохотнул. Он ловко выбирал оранжевых самок — они жирнее — и укладывал их в чемодан, устланный целлофаном. Мой друг стал нарочно брать лиловых форелей. Он отходил к палатке, закуривал, неторопливо укладывал рыбу. Над нами висела туча. Мы молча обвязали чемоданы ремнями, молча собрали рюкзаки, повалили палатку. И наш «монолит» рухнул!.. И кеды мои развалились. За неделю я разбил их об эти камни... Не помню, как я прошел тридцать километров до поселка. На перевале лошади спотыкались, их ноги скользили, камни вылезали из своих мокрых гнезд, земля расползалась, ветер стрелял моей курткой. Гудела голова, высох рот, ныли зубы, лицо горело. На склонах трава была скользкой от изморози. Я падал, но боли не чувствовал. Хотелось пить. На лысинах камней синели блюдца снеговой воды. Я жадно пил. Равнодушно шел дальше. Подошвы цеплялись за камни, я их оторвал, не снимая кеды. Земля была холодной, острой, твердой. Я до крови сбил ноги, но холод каждую секунду приглушал боль. Ахмет ждал нас. Помню, я сидел на стуле и держал ноги в тазу, полном красной воды. Вадим поднял стакан с вином.

— Дорогой Ахмет...

«Газик» петлял в горах. Мы часто останавливались, нас встречали друзья Вадима. Везде у него были друзья! Я механически улыбался, пожимал руки, пил вино, ел баранину и рубленое мясо, завернутое в виноградные листья, хлебал кислое молоко. И снова — петли над пропастью. Нас несло вниз, шофер разворачивал «газик», а я мысленно скользил дальше... Хоть бы столбики поставили. Где-то мы выходили из машины. Ели, пили, обнимались, прощались. Смотрели, как круглые камушки выскальзывают из-под колес и летят в пропасть. Появился Эмманет. Он сменил шофера, имя которого я забыл. Мы опаздывали к поезду. Вадим сказал:

— Эмманет, надо его догнать! Едем на следующую станцию.

— Ладно, у меня детей нет, у вас дети...

В кабине стало холодно. Эмманет увеличил скорость. Вспыхнули фары. Свет вспугивал птиц, упирался в скалы, золотыми мостами повисал над крутизной. Большая птица попала в прожектор, свет так преобразил ее, что я до сих пор не знаю, какая это была птица.

На поворотах мы падали друг на друга. Эмманет скрипел зубами. Взвизгивали тормоза. Вадим звонко щелкал пальцами, обнимал меня и моего друга,

пел военные песни. Эмманет обиженно молчал. Вдруг Вадим запел родную песню Эмманета — однообразную и резкую. Эмманет перестал скрипеть зубами, его голова закачалась в такт песне, губы улыбнулись, зашевелились. Все громче он стал подпевать Вадиму. Оборотень!..

— Опаздываем.

Эмманет увеличил скорость. Мы неслись в кромешной тьме. Догнать поезд, догнать!.. Как будто это дело жизни. Вдруг я опомнился: куда я тороплюсь? Кто меня ждет? К своим старикам, к брату я могу приехать и на день позже. Встречная машина вылетела из-за поворота, ослепила нас. Эмманет выругался.

Пронесло...

— Жми, Эмманет!

— Эмманет, не слушай его.

— Уже приехали...

— Быстрей, быстрей! — кричал Вадим, словно одежда его горела, словно он хотел сбить с себя невидимое пламя.

Внизу возникло зарево станции. В движущийся поезд мы впихнули чемоданы, рюкзаки, снасти... Повисли на подножках. С Эмманетом попрощаться мы не успели. Мой друг махал ему рукой и кричал: «Эмманет, Эмманет...» Но поезд уже гудел, свистел, лязгал, мчался. Мы ворвались в свое купе, как сумасшедшие. Что-то мучило каждого из нас. Гонка продолжалась...

В купе сидел смуглый мужчина в сером костюме. Короткая стрижка.

Вадим поднял свой чемодан и покачнулся... Наш сосед подхватил чемодан, легко удержал его, поставил. И мой поставил... Втянул воздух.

— Рыба?

Читатель, я ничего не придумал. И надо же такому случиться — он попал в наш поезд, в наш вагон, в наше купе! Это все равно, что выстрелить ночью в небо и попасть в птицу. Он достал красную книжечку.

В удостоверении было написано, что он начальник инспекции по охране природы того района, в котором мы ловили форель...

Вадим напрягся.

— Это невероятно! — закричал мой друг и еще раз глянул на удостоверение.— Невероятно! — радостно повторил он.

Страха в его голосе не было. Я не ошибся — была радость. Есть бог! И мой друг отвечал за себя. Он был спокоен. Нет, не потому, что он поймал примерно столько, сколько разрешается. Пусть даже больше. Природа, женщины... Кто их поймет? Женщина говорит: нельзя, а сама хочет, чтобы ты поцеловал ее. И чем больше, тем лучше. Лишних десять форелей... Не в этом дело. За такие грехи в ад не попадают. Если бы ад был на самом деле, может, в реку моего детства не текли бы отходы крахмального заводика, это уже насилие. Вот в чем дело. «После нас хоть трава не расти, на наш век хватит...» Браконьерство — тонкая философия. Отравили речку... Так уж лучше я сеткой. А там и толом! Уж лучше так — для себя, для людей. А то ведь ни для кого... К черту спиннинг! Некогда баловаться. Толом! А спиннинг — шпага, донкихотство. И стоишь ты с ним перед крахмальным заводиком, как Дон-Кихот перед мельницей. И Вадим не браконьер. Нет, нет, нет...

Колеса стучат в голове. Я устал. Может Вадим, которого я не люблю, отравить реку? Нет. Будь он директором, не отравит. Он тип, но не тот. Вадим что-нибудь придумает, как тогда, в детдоме...

Мой друг протянул инспектору руку.

— Рамиз,— сказал инспектор.

Мы познакомились.

— Крепкая у тебя рука, Рамиз.

Мой друг поставил локтем на стол руку, приглашая Рамиза на борьбу. Рамиз снял пиджак. Две крепких, смуглых лапы переплели пальцы, напряглись. Лица побагровели. Мой друг, жестко улыбаясь, прижал руку Рамиза к столу.

— Еще раз!

— Давай!

Мой друг нарочно дал придавить свою руку, а потом неумолимая сила потянула руку Рамиза в обратную сторону и припечатала к столу.

— Молодец! — сказал Рамиз.— Долго были на озере?

— Неделю.

— Руки у вас сильные, поэтому вы не почувствовали, что везете больше, чем полагается по норме.

— А может, мы были две недели?

— Увлеклись,— сказал мой друг.

— Понимаю, сам рыбак. Вы не браконьеры, это я вижу.

— Пойдем, покурим,— сказал нам Вадим.

Мы вышли в коридор.

— Стойте здесь.

Я увидел наши отражения в окне вагона — сквозь меня, Вадима, моего друга летели огни и деревья, плыли темные горы. И вдруг я равнодушно подумал о себе, словно о чужом, незнакомом человеке: люди меня обижали, и я их обижал, но перед природой моя совесть чиста. И Рамиз понимает: мы не браконьеры. А рыбу мы раздарим. Она попадет к хорошим людям: к больным, старым, измученным войной, работой, бессонницами. А когда человеку делаешь добро, он тотчас — есть такой закон—тоже делает кому-то добро. У добра цепная реакция. А люди — фильтры. Кочуя от одного к другому, добро фильтруется, очищается...

Вадим вернулся в купе, через несколько минут позвал нас. Рамиз с любопытством смотрел на моего друга, на меня.

Другу:

— Дорогим гостем будешь.

Мне:

— Дорогим гостем будешь.

Вадим спокойно улыбался. Что-то сказал Рамизу. Для Садрака я был капитаном. А для Рамиза?

Утром на вокзале Рамиз уговаривал нас заехать к нему домой позавтракать. Мы сказали, что торопимся.

— Обождите десять минут.

Рамиз пропал и вскоре вернулся с огромной корзиной, полной желтых черешен. Нас ждали друзья Вадима, мы сели в машину. Рамиз махал нам рукой. Уже в аэропорту мой друг спросил у Вадима:

— Что ты сказал Рамизу?

— Я сказал правду.

— А точнее?

— Я сказал, что вы крылатые люди, работаете с перегрузками. А он, кажется, неправильно меня понял. Он решил, что вы космонавты.

— А ты, значит, при нас?

— Вот именно. Как я его, а? Зверь!

— Это тебе!

Вадим упал. Тут же поднялся и резко, без подготовки ударил моего друга, и мой друг упал. Я бросился между ними — на нас уже смотрели...

— Бессмысленно,— сказал мой друг и расслабился.

И Вадим обмяк. У него в этом городе были дела, он уехал. Мы искренне попрощались, понимая, что каждый останется самим собой.

Ревели турбины. По бетону гуляли горячие сквозняки. Время обдавало нас своим дыханием. Взлетали, садились самолеты, трава стелилась и бежала вдоль полосы. Друг мой! Разве были мы там, где в ледяной воде взрываются радужные форели и воздух забрызган их лиловыми пятнами? Разве мы там были? Были Пушкин, Лермонтов. Кто есть, тот был, а кого нет, того не было! Однажды в детстве я увидел на песке мгновенно-неподвижную тень цапли и быстро обрисовал ее! Птица улетела, а я сидел на остывающем песке и сторожил украденное у безвозвратности мгновение. Моя обрисованная птица чем-то волновала меня. Над водой уже летел туман. Заквакали лягушки. В развалинах погасло солнце. В парке на городском валу заиграла грустная музыка. Стало холодно и темно. Захотелось есть, я замерз и побежал домой. Я решил подняться раньше всех и вернуться к своей птице, чтобы ее не затоптали коровы или люди, которые придут купаться. Я проснулся поздно, солнце било в глаза. Я вспомнил о своей птице, но — вот странно — без жалости. В детстве бывают мгновения, когда мы мудрее взрослых. Я понял, что дело не в этой, случайно обрисованной цапле. Осталась детская тревога за огромную зеленую птицу, на которой мы летаем в беспредельности.

ЭПИЛОГ

Через два года мой друг на своей машине один поехал на это озеро. Целую неделю он сидел за рулем, жарился в приволжских степях, буксовал в грязи, ел всухомятку. Было начало июня — москиты доводили его до безумия. Небритый, опухший, расчесанный до крови, он, наконец, уперся в перевал. Ахмет помог ему добраться до озера. Вечером мой друг сделал первый заброс. Как только блесна тюкнула воду, сердце его сладко заныло, вот-вот... Ради этого стоит ехать пять тысяч километров, буксовать в грязи, глохнуть от жары. Очень хотелось взять форель с первого заброса.

«Не вышло»,— подумал он и огляделся. Синие ручьи незабудок, разрезая снег, сбегают с гор прямо в озеро. Голубая, холодная вода... В ней утонул его усталый взгляд, вода освежила... Запах меда и снега... Друг засмеялся — он понял, почему сейчас увидел все это словно впервые. Он компенсировал пустой заброс!.. Сделал еще несколько забросов. Вот-вот... И вдруг обрадовался — их стало меньше. Ну что ж, это даже лучше, это уже настоящая охота, придется потрудиться, поискать форель, подумать. Дыхание голубого холода придало ему силы. Его движения постепенно стали спокойными, блесна летала все дальше и дальше. Каждый такой заброс два года назад давал бы форель. Наконец-то она вскинулась, взорвалась, и он послал блесну на всплеск. Форель ударила по блесне и сошла... Сразу стало веселей. По привычке мой друг огляделся — ни души! Он пошел вдоль озера к скалам и на ходу делал забросы.

«Куда-то они отошли»,— подумал он и стал прокалывать всю впадину. Возле скалистого берега его застала темнота.

Ночью он лежал у костра в меховом спальном мешке и, наверное, думал обо мне, о нашей позапрошлогодней поездке, о Вадиме. Утром он наспех поел и почти бегом, чтобы согреться, обогнул озеро. Что-то тревожило его, он оглянулся, осмотрелся. Небо ясное, грозы не будет... Садрака и Андроника нет. Вроде бы все в порядке. Он с разбега послал блесну метров на семьдесят, сейчас форель ударит и вылетит с горящим ромбиком во рту, согнет удилище. Что-то опять насторожило моего друга. Недалеко от берега бултыхнулась форель, он послал туда блесну, почувствовал удар и могучий рывок. Форель выскакивала из воды, трясла головой, разбрызгивала солнце, бушевала в глубине, уже на берегу хвостом разбрасывала гальку. Она была огромной. За два года подросла. Мой друг с трудом прижал ее к земле и освободил блесну. Форель была холодной. И под сердцем появился какой-то беспокойный холодок, словно передавался холод от форели. Мой друг закурил.

«Как здесь тихо»,— подумал он.

И вдруг испугался. Где же Андроник и Садрак? Их не было вчера, нет сегодня... Полдня мой друг хлестал воду блеснами и понял, что Садрак и Андроник уже не нужны. В отчаянии сидел он на холодном камне и бессмысленно смотрел на воду. Солнце стояло еще высоко. Зной, усталость и единственная форель в сумке сделали свое дело. Рот пересох. Мой друг нагнулся, чтобы напиться, и увидел усталое, чужое лицо. Вода ненадолго освежила. Пустая вода...

Чабан вдоль озера гнал овец. Он рассказал моему другу, что Садрак и Андроник уже не работают сторожами. Всю форель выловили сетями. А потом плавали на лодке и по всему озеру бросали заряды. Немного форелей осталось, но поймать их трудно: они напуганы и держатся на большой глубине. А мальки все погибли... Было много орлов-стервятников, потом и они улетели. Мой друг жил на озере пять дней. Он все-таки поймал несколько форелей. Ему больше и не надо было.

«Если бы я приехал и узнал, что здесь вообще запретили ловлю, я уехал бы пустым, но более счастливым»,— подумал он и беспомощно улыбнулся. Вокруг холодно молчали горы.

В небе горел след реактивного самолета. Самолет, ракета, да что ракета, простая фотокамера... Там, в диких горах, даже фотокамеры вновь показались ему великим изобретением, так оно и есть, только мы привыкли... Мой друг с восхищением думал о человеке, о его могучем уме. О человеке — с восхищением, о некоторых людях — с ужасом. Взрывчатка, дохлые мальки, стервятники... Мой друг засунул в рюкзак ненужный фотоаппарат... Он вспомнил, как мы фотографировались во время ловли, форель брала так часто, что не нужно было цеплять на блесну усталую, уже пойманную рыбу. «Есть, сидит, снимай!» И все в натуре — удилище согнуто, форель вылетает из воды... Мы снимали друг друга, когда мололи соль и когда свалили в кучу наш первый улов. Они лежали на снегу. Мы снимали их на цветную пленку. В Москве он позвонил мне и сказал, что обе пленки почему-то засветились. Лучше бы мы потеряли половину улова, даже весь.

«Значит, так надо»,— с каким-то несвойственным мне покорством подумал я. Было обидно. Ну, часть пленки, ну, одна — обе от начала до конца. Пленки засветились, и форелей выловили. Было ли все это? А если даже было, разве это утешение? Есть одно утешение — будет. В озеро запустят много новых мальков, и вырастут форели. И охранять озеро будут не от спиннингистов — от браконьеров, у которых двухсотметровые сети и взрывчатка... И от всяких других браконьеров, не пахнущих рыбой.

А все-таки жаль, что засветилась пленка.

Владимир Цыбин





✪

Не все равно ль, в начале иль в нонце
лора,
когда мы жили
без услады.
Сменяются улыбки на лице,
сменяется в глазах — движенье взгляда.
Сменяются вчерашние черты,
течет рассвет,
в закат перетекая,
н болью боль сменяется,
и ты
не лрежняя уже
и не таная,
какой я знал, забыть тебя какой
старапся —
н такою забываю;
и, сердце открывая в непокой,
вдруг заново
весь мнр я открываю.
И вот уже нная явь вонруг,
и знаю я, что нету лучше доли,
когда, лроснувшись,
содрогнется дух,
не изреченный в пламенном глаголе.

✪

Заботе беспокойной
я сердце отворю,
врастают
сердца норнн
в бессонннцу твою.
Одной с тобой породы,
хочу я
в гонне дней
звучать в тебе все годы
певучей и спышней.
Не так, как встарь —
с пюбою,
а лишь с одной, такой
отгадывать любовью,
отгадывать тоской.
Хочу, скорбя и мучась,
и лразднично
и зпо
врастать в твою тенучесть,
врастать в твое телпо.

Одно на свете знаю —
нак будто в жар костра,
в тебя лроизрастаю
до смертного конца.

✪

С Земли устремляясь к вселенсним
орбитам,
смешалнсь все срокн
и все времена,
нным, протяженным в галактике ритмам,
иным измереньям
душа отдана.
Разорвана времени ллотность
на клочья,
и явственней слышнщь
в невнятице дней —
все меньше Земля,
и дороги нороче,
и рени нороче,
и думы длинней.
Поймешь ли,
учась языку у безбрежий,
от сверхскоростей начиная отсчет,
что мысли все те же
н звезды все те же,
а время все так же сквозь сердце течет...

Вздох

Бессонница —
лолнощная сова,
чего ты привязалась в самом деле!
Пона берег, лока колил слова —
от холода они окаменели.
Все кажется:
они ломочь могпи,
ногда б внезално зазвучали трубно.
Я чувствую,
слова мои вошли
в дыханье мне — и отдышаться трудно.
Признанья торолливого боюсь,
но, отдан каждодневным суматохам,
не выдержу, слезою обольюсь
и занричу навзрыд я тихим вздохом...

✪

Всему я живому на свете лодобен —
стренозам,
вслепую петящим н нострам,
лодсолнухам,
вставшим на цылочки в лолдень,
и ищущнм мягную землю корням.
Я спышу, я спышу,
нан листья и травы
во мне продолжают лрохладный свой луть,
и влажно
н нежно уходят в суставы,
и ламяти корни
уходят мне в грудь.
И этим подобьем
уравнен с Вселенной,
растаю совсем
и исчезну я лусть,
но всем я оставлю свой оттиск
мгновенный,
на всех отзовусь
н для всех ловторюсь...



Юрий
ЯКОВЛЕВ

КАНАРЕЕЧКА ЖАЛОБНО ПОЕТ

РАССКАЗ

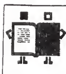


Рисунок
Г ПОНДОПУЛО.

Никто не видел, как они сошли с поезда и тряслись в тесном, потном автобусе. Никто не обратил внимания, как, усталые и озабоченные, бегали по поселку в поисках «квартиры» — сараюшки с двумя койками по рублю в сутки. Как нашли такую сараюшку, сколоченную из некрашеных серебристых досок, со щелями, в которые ночью смотрели звезды, а днем протискивались лучи вездесущего южного солнца.

Тогда они еще были одеты по-северному, по-городскому: на ней были красное пончо и юбочка, коротенькая, как у римских легионеров. На нем — вельветовый пиджак и джинсы с бахромой, позаимствованные у героев ковбойских фильмов. Но утром их уже нельзя было узнать. Они появились у входа на санаторский пляж почти без всякой одежды. Он — в зеленых плавках с черным карманом. Она — в трусиках из ситчика и узеньком лифчике, застегнутом между лопаток на один крючок. Они были на редкость худыми — жирок на них не завязывался, сгорал дотла. А так как они еще не успели пройти сквозь гончарную печь крымского солнца, то остроносая старушка — хранительница пляжа — наметанным глазом сразу признала в них бледнолицых «чужаков» и преградила путь.

— Путевки у вас есть? — спросила она недружелюбно.

Не было у них никаких путевок. Девушка держала под мышкой свернутый в трубочку половичок, а у него в руке раскачивалась сумка с полотенцем.

— Откуда вы такие взялись? — нацелился на них острый носик.

— Приплыли на дельфине,— пошутил парень и махнул сумкой в сторону моря, где неподалеку от берега кувыркались гладкотелые дельфины.

— Ну и уплывайте на своем дельфине! Чужим не положено,— отрезала старушка, как большинство маленьких начальников, любившая проявлять власть.

— Какие же мы чужие? — миролюбиво возразил он.— Что вам, песку жалко?

— Порядок должон быть,— стояла на своем старушка.

Не внушали эти двое доверия: такие полежат на солнышке до обеда — кто-то надувного матраса недосчитается. А песку ей, конечно, не жалко. И, начав за упокой, старушка кончила за здравие — на пляж их пустила.

Они зашагали по кромке моря, испытывая робость перед бушующей стихией, с которой судьба свела их в первый раз. Волны падали и рассыпались у ног, и молодым людям казалось, что земля качается под ними, и у них захватывало дух, как на качелях. Они держались за руки, чтобы не упасть.

— Во дает! — крикнул он ей в ухо и засмеялся.

— Море! — отозвалась она.

Это были скорее не слова, а просто крик радости.

На людном пляже им наконец посчастливилось отыскать свободный островок. Они расстелили половичок и легли рядом, лицом к морю.

У нее были разные глаза: один серый, другой карий. Природа то ли подшутила над ней, то ли что-то напутала, но этот маленький дефект доставлял девушке массу огорчений. Вечно над ней посмеивались, подтрунивали. Она даже ходила к окулисту, советовалась, как быть, чтобы оба глаза стали либо серыми, либо карими. Оказалось, что ничего сделать нельзя.

Она жила с маминой сестрой, тетей Марусей. Прибилась к ней после того, как мамы не стало. Тетка помогла ей окончить восемь классов и получить

специальность. Потом вышла на пенсию. Пришлось теперь самой тянуть тетку. И еще Валерку — теткиного внука. Так они и жили втроем. Жили хорошо. И все трое чего-то ждали. Тетя Маруся ждала счастливого лотерейного билета, чтобы выиграть швейную машину или поездку по Волге на пароходе. Валерка ждал совершеннолетия, когда наконец не надо будет зубрить правила правописания и он уйдет на атомоходе во льды. Она тоже ждала, но в ее ожидании не было той четкой конкретности, что у тети Маруси и Валерки, нечто смутное и тревожное маячило впереди, манило к себе и одновременно пугало.

— А то, что глаза у тебя разные,— говорила тетя Маруся,— это к счастью. Встретишь хорошего человека.

Хорошего человека! Вокруг нее жило много хороших людей, но они почему-то не приносили друг другу счастья: ссорились, болели, расходились, получали выговоры, умирали... Трудно было докопаться до их счастья. Она любила этих людей, знала, что они не оставят в беде, одолжат десятку до аванса... Но никак не могла вообразить, как это один из них, из хороших, сделает ее счастливой.

Она работала во втором механическом цехе, в ОТК. И по долгу службы ей все время приходилось ругаться с токарями. Из-за допусков, из-за микронов, из-за перекосов и прочих токарных грехов.

Больше всех она ругалась с ним.

— Не приму я эти втулки! — категорически говорила она.

— Да ладно тебе,— канючил он,— подумаешь, микрон!

— Из-за этого микрона механизм полетит.

— Когда это из-за микрона механизмы летели! Есть же допуски!..

— Ты меня не учи! Я лучше знаю про допуски. Вам дай волю, вы с микронов на миллиметры перейдете. Работать надо внимательней.

— Хочешь оставить меня без прогрессивки? — восклицал он.

— Задержись после работы и переделывай,— не отступала она,— иначе напишу рапорт сменному.

Они вечно переругивались и, естественно, не испытывали друг к другу никаких чувств, кроме неприязни. Он норовил как-то провести ее, а она старалась подловить его на неточности. Ничего не прощала. В обыденных нудных отношениях не было ни щелочки для сердечности или хотя бы для простого интереса друг к другу. Только втулки да микроны.

Уму непостижимо, как они очутились вместе на берегу моря.

Однажды он пошел на хитрость, решил заговорить ей зубы.

— Ладно тебе со своими микронами-микробами! Ты куда отдыхать-то едешь?

Она удивленно посмотрела на него. Хотела пробурчать что-то вроде: «Не твоя забота»,— но, помимо своей воли, ответила вполне нормально, даже дружелюбно:

— Не знаю... А ты?

— Может быть, поеду в Крым «дикарем»,— сказал он. Хотя на самом деле никуда ехать не собирался.

— Трудно будет устроиться.

— А чего трудного-то! За рубль коечку всегда найдешь.

— Конечно,— согласилась она. И вдруг подумала, что никогда еще по-настоящему не отдыхала. Когда была жива бабушка, ездила к ней в деревню. Но ей обычно не везло: то вода в озере была холодной, то яблоки зелеными.

А он вошел в свою роль и говорил как бы вполне серьезно:

— Питаться можно в кафе. Теперь везде самообслуживание.

— А к завтраку можно яичек подкупать на базаре,— фантазировала она.

Они тогда хорошо поговорили. Работу же она забраковала. К двум бронзовым втулкам придралась, пришлось после смены доводить их до кондиции.

Однако этот разговор в сознании молодых людей отложился как-то странно, он не имел никакого отношения к втулкам и прогрессивкам. Какое-то зернышко проросло, зазеленело травинкой. И однажды он ни с того ни с сего предложил ей:

— Поедем вместе. Веселее будет.

Она ответила не сразу. Сперва решила, что это подвох. Потом поняла, что парень предлагает серьезно, прикинула в уме свои дела.

— У нас с теткой с деньгами туго,— сказала она,— Валерке велосипед купили.

— Много денег и не надо. Возьми в кассе, потом отдашь. Делов-то!

И они поехали. С той необъяснимой легкостью, которая отличает молодых людей от старых. Нет, их не связывала ни дружба, ни симпатия и уж, конечно, не любовь. Просто так, сорвались вместе, за компанию. И полетели!

И попали они в какую-то прекрасную, неведомую доселе стихию. Море ошеломило их, оглушило и окончательно завладело сердцами. Они встречали на море восход солнца и плавали по лунной дорожке. Они привязались к морю, как к живому существу. Прислушивались к тихому рокоту малых волн, словно узнавали бесконечно интересные истории и странные морские тайны. А грохочущие штормовые волны баламутили их мысли и рождали желание плыть в дальние страны, открывать неведомые острова. Они начинали чувствовать в себе силы, о которых раньше и не подозревали.

— Надо бы переселиться поближе к морю,— сказал он как-то.

Она вздохнула.

— Тебе легко — взял расчет и лети куда пожелаешь. А у меня тетя Маруся, Валерка, дом.

— Якорь,— сочувственно сказал он.— Но, говорят, корабли срывает с якоря. Иногда.

У него не было якоря. Он был из детдомовцев. Ни отца, ни матери не знал. Когда же раз в полгода писал письмо своей бывшей воспитательнице Людмиле Алексеевне, то обращался к ней со словами: «Здравствуйте, мама!» Ему было приятно хоть в письме называть кого-то мамой. В детдоме он мечтал поскорее вырасти, потому что взрослые перестают быть сиротами. Ему тогда и в голову не приходило, что среди взрослых куда больше сирот. Правда, сиротство это не такое болезненное.

Теперь он жил в заводском общежитии, к самостоятельной площади не стремился, боялся оказаться в одиночестве. Была у него далекая мысль со временем взять к себе дядьку Пархомова — истопника детдома. Старик всегда жалел его, утешал, когда было горько на душе. Занятный был он старик. Все напевал солдатскую песенку, неведомо когда попавшую к нему:

Соловей, соловей, пташечка!
Канареечка жалобно поет!

Это была единственная песня, которую знал истопник. Но пел он ее по-разному: то грустно, жалобно, когда болела спина, то с ожесточением, когда под колун попадалось норовистое, сучковатое полено. Пел с радости и с горя. Трезвый и под хмельком.



И каждый раз песня звучала по-иному, словно это были разные песни. Лежа на половичке вблизи воды, парень предавался воспоминаниям и насвистывал мотив песенки истопника. Сердце наполнялось горьковатой печалью, и начинало казаться, что лучшие годы прошли.

Хорошо лежать на песочке под горячим южным солнцем. Солнце припекает не только спину и бока, оно выжигает все городские заботы и северные неприятности. И на душе тоже становится тепло. А рядом море бродит, поднимается, как на дрожжах. И от него пахнет неповторимым хмельным духом, и ветер сдувает с гребешков волн белую пивную пену.

Она лежала рядом, положив под щеку ладошку и согнув ноги в коленях. А глаза у нее были закрыты.

Время от времени он посматривал на свою подругу, стараясь найти объяснение: как это получилось, что занудливая девчонка из ОТК лежит рядом с ним на берегу моря? Может быть, она сейчас откроет глаза и начнет приставать со своими микронами? Но она не открывала глаза, не тревожила его. Здесь на море она была удивительно спокойна, и этот покой передавался ему. И он поймал себя на том, что не жалеет, пригласив ее с собой в Крым.

— Идем купаться! — вдруг сказал он.

Она открыла глаза и осмотрелась. Видно, в коротком сне забыла о том, как попала к морю и как рядом с ней очутился он.

А парень уже встал, протянул руку и рывком поставил ее на ноги. И они, как подхваченные ветром, устремились в воду.

— Поплыли к буйку!

— Поплыли!

Волны сразу приняли их в свою бесшабашную игру, подхватили, закачали, обдали пеной, брызгами. И молодые люди устремились вдаль по морским ухабам, а руки их замелькали над волнами, как крылья чаек.

Вдвоем они не боялись заплывать далеко от берега: чувство взаимной поддержки заглушало все страхи. Они плыли до тех пор, пока их не заметили с дежурной лодки.

— Вернитесь к берегу, не заплывайте за буй! — гремел над морем железный голос мегафона.

Они нехотя поворачивали и на попутной волне возвращались к берегу, где возле спасательной станции на фанерном щите был нарисован парень, спасающий девушку, а ниже шли стихи, сочиненные доморощенным поэтом:

Не лезь, товарищ, пьяным в море,
Своим друзьям доставишь горе

— Хорошо бы сюда привезти тетю Марусю с Валеркой,— мечтательно сказала она, выходя на берег.— Они никогда не видели моря.

Он ничего не ответил, подумал, что старик Пархомов тоже никогда не был у моря.

Со временем море, солнце и ветер обработали молодых людей. Они стали смуглыми, как мулаты, и похожими друг на друга, как брат и сестра. В уголках их губ и в обрамлении ногтей отложилась морская соль. Они даже стали солеными на вкус. Об этом знал лишь один пес Тузик, который лизал им руки в благодарность за корочки сыра и колбасную кожуру. Тузик был старый, с пегой свалявшейся шерстью и тусклыми безразличными глазами. Лаял он редко и беззлобно, обнажая при этом стертые зубы. Тузик был лайкой, был рожден для буранов и вьюг, судьба же забросила его в теплые края. И вместо того, чтобы бежать в упряжке, он лениво расхаживал по двору, позвякивая цепью.

Тузик — их ближайший сосед. Его конура стояла рядом с сараюшкой. Сама же сараюшка лепилась к голубовато-белой хозяйской мазанке. Здесь начиналась дорожка, которая, по диагонали пересекая огород, вела в дальний угол, где в малиннике стояла будка с окошком в форме бубнового туза.

Они уходили на море утром, а возвращались, когда солнце садилось и приближались густые южные сумерки. Молодые люди падали на свои скрипучие коечки, но не засыпали, а отдыхали от солнца, остывали. Чуть позже, когда в щели сараюшки начинала вливаться прохлада, она накидывала на плечи красное пончо и причесывалась перед осколком зеркала. Он же натягивал джинсы с нашитой внизу бахромой и надевал вельветовый пиджак. И они отправлялись на набережную.

Они шли в обнимку, как все парни и девушки, приехавшие вместе на юг. А вокруг было людно, словно на демонстрации. Звучали громкие голоса, смех, музыка. Горели фонари, прокладывая в волнах короткие световые дорожки. Светились окна и веранды. И молодым людям казалось, что они неожиданно стали участниками праздничного спектакля и вокруг них красивые декорации, а луна прибита к темной стенке гвоздем. И он обнимал девушку, как любимую.

Но если бы его спросили о чувствах, которые он испытывает к своей подруге, он бы пожал плечами: какие чувства — никаких чувств! Хотя то молчаливое согласие, которое установилось между ними, и было проявлением скрытого, неосознанного чувства, которое пробудилось в нем, завороженном морем, красками и ароматами юга. Это робкое, безымянное чувство по-новому осветило для него девушку, а нудный контролер ОТК остался в тени.

Отпуск подходил к концу. Все это время они жили беспечно и просто, без земных забот, словно перенесенные на другую планету. Но пришла пора возвращаться на землю. В Муром. И накануне отъезда появилась первая забота: надо было раздобыть денег на обратную дорогу.

Впрочем, этот очажок тревоги был моментально погашен. Она сказала:

— Пошли на почту. Позвоню тете Марусе, она вышлет. У нее должны быть деньги.

Они пришли в маленький деревянный домик, где помещалась почта, и долго сидели на скамье, отполированной многими поколениями ожидающих. Они ждали и слушали, как телефонистка перекликалась со всеми городами страны.

— Горький, я — Планерское. Ждите, Горький!.. Девушка, ты кто? Харьков? Не нужен мне Харьков. Мне Ростов, Симферополь! Маруся! Дай мне Ростов! И еще ждут Муром... Муром на проводе? Кто ждет Муром? Третья кабина.

Она вспорхнула со скамьи и побежала к третьей кабине.

— Алло! Валерка! Это я, Валерка! Как вы там живете? — Ее голос звучал на всю почту.— Где тетя Маруся? На какой еще хор? Мне деньги нужны. Рублей двадцать... Почему это у вас нет денег?.. Да, привезу я тебе камушков и цветок привезу. Куда вы все деньги девали?

Она вышла из кабины растерянная, возбужденная, с бисеринками пота над верхней губой. Он поднялся ей навстречу.

— Валерка говорит, нет денег,— сокрушенно сказала она.— Жмутся они там, в Муроме!.. Ничего, ты не вешай нос, мы с тобой пончо продадим. На билеты хватит.

— Жалко пончо,— сказал он и почувствовал, что ему на самом деле жалко пончо. Ее пончо...

Она взяла со стола бланк для телеграммы и на обратной стороне крупными буквами написала: «Продается красное пончо. Приходите к почте с 6 до 7 вечера». Намазала листок клеем и сказала:

— Пошли!

И приклеила листок к старой акации.

Домой они шли молча. Он испытывал неловкость, что ничего не смог придумать, а она вот нашла выход из положения.

Стояла глубокая южная ночь. От невиданных цветов и трав шел колдовской аромат. А темные кипарисы, как остывающие печи, дышали жаром. Крупные приближенные звезды излучали теплый земной свет, словно над головой вознеслось огромное черное зеркало, в котором отразились огни домов, фонарей, стоящих на якоре кораблей. А падающие звезды — отражение бегущих в ночи поездов.

И была эта ночь полна тайн, внезапных пробуждений и несбыточных снов.

Они спали в своей маленькой сараюшке на двух ржавых поскрипывающих коечках, которые стояли так близко одна к другой, что пройти между ними можно было только боком. Они как легли — так сразу и заснули, чтобы проснуться, когда в щели вольется розоватый свет утра и по плечам пробежит колкий холодок. Набитые прошлогодней соломой сенники и подушки были жесткими, а стиранные-перестиранные одеялки, списанные на ветошь в соседней воинской части, не держали тепла. Но им было мягко и тепло. Они спали смирно, не ворочаясь с бока на бок, только слегка посапывали.

Среди ночи он проснулся, повернулся на другой бок и откинул руку. И вдруг огрубевшей от воды и ветра ладонью почувствовал что-то живое и трепетное, словно накрыл спящего птенца и тот доверчиво шевелится под его пальцами. Он окончательно проснулся и ощутил, как через руку в него вливался таинственный жар. Он понял, что рука его лежит на груди у подруги, и от этого открытия у него перехватило дыхание. Лицо пылало, в глазах стояли звезды, которым удалось пробиться сквозь щели сараюшки, сердце колотилось. Но он не слышал собственного сердца — другое, тихое и кроткое, двигало его кровь и наполняло стыдливой радостью.

И тут подруга не то всхлипнула, не то вздохнула и проснулась. Она открыла глаза и снова закрыла — что с открытыми, что с закрытыми ничего не было видно... Она почувствовала его руку, но не отстранила ее.

Она спросила:

— Ты что?

— Я... я замерз,— невпопад ответил он.— Меня знобит.

Его и вправду познабливало, но не от холода, а от ощущения какой-то странной, неосознанной близости.

— Прими аспирин,— простодушно посоветовала она.— Зажги свет.

Он вдруг отнял руку, повернулся на другой бок, спиной к ней. Старая коечка заскрипела всеми своими ржавыми суставами. И затихла.

— Хочешь, я дам тебе свое одеяло? — предложила она.

— Не надо.

— Тогда возьми пончо. Оно висит у меня в ногах.

Она все еще думала, что он дотронулся до нее, чтобы погреться, как греются у теплой печи или у батареи парового отопления.

Он долго не мог уснуть. Мысли метались, потеряли все ориентиры и даже по звездам не могли вернуться к привычному берегу. Ему казалось, что его товарищ по работе, подруга покинула его этой ночью, сбежала из сараюшки, а ее место на соседней ржавой коечке заняла другая девушка, незнакомая и таинственная. И вдруг он представил себе, как утром хлопнет ее по плечу и весело скажет: «Побежали на море!» А она усмехнется: «Тише ты, медведь! Плечо обгорело...»

Он мотнул головой так, что подушка съехала набок, и понял, что ничего этого больше не будет. Не будет он хлопать ее по плечу, не будет подныривать и хватать ее за ноги в море, не отдаст ей стирать свои бесхитростные шмотки. Он испугался и обрадовался. И его охватило нетерпение увидеть ее при свете дня. Новую и незнакомую. Он ждал и страшился этого мгновения.

Так и уснул.

Утром шел дождь. Крыша протекла, и он проснулся от дождинок, которые падали на лоб и стекали по щеке на шею. Сперва он отмахивался от капель, как от комаров, но потом открыл глаза, сел на скрипучей койке и в трусах выбежал во двор. Он бегал под струями холодного утреннего дождя в поисках куска рубероида, чтобы как-нибудь залатать крышу.

Когда ремонт был произведен и он вернулся домой, она уже не спала. Лежала с открытыми глазами и ждала его возвращения.

— Ты купаться бегал? — спросила она, разглядывая его мокрые волосы.

— Дождь,— ответил он,— льет как следует. А ты чего...

Он хотел сказать: «Ты чего валяешься»,— но осекся и промолчал. Все переживания минувшей ночи вдруг ударили горячей волной и выбили его из седла.

— Я заделал крышу,— тихо сказал он.

Она не заметила перемены в его голосе. И спросила:

— Надолго дождь?

«А ты сбегай и посмотри»,— должен был сказать он, но вместо этого сказал совсем другое:

— Хочешь, я добегу до сопки и посмотрю, что там в небе?

— Вместе сбегаем.— Она свесила ноги с коечки. Дошла до порога — три шага ходьбы. Выглянула наружу, вздохнула и босиком побежала в малинник к будочке с бубновым тузом.

Крымские дожди недолговечны. Побарабанят, прибьют пыль, напустят страха на отдыхающих и отступят, расчистив путь солнцу. И тогда из санаториев, домов, избушек и сараюшек потянутся паломники с надувными матрасами, ковриками, зонтами и сумками.

Они решили напоследок уйти подальше вдоль берега, где пляжи кончаются и начинаются места дикие: бухточки, гроты и нагромождения скал.

Прыгая с камня на камень, она шла впереди, а он шагал за ней и все старался понять, что произошло после этой ночи. Ему казалось, что он впервые видит свою подругу так близко, а до сих пор держался от нее вдалеке. Он заметил, что ее волосы собраны в тугой строгий пучок и лишь отдельные прядки, легкие и шелковистые, выбились из пучка и спадают на шею. А шея у нее тонкая и длинная, как у древней богини. Он увидел на ее обгоревших плечах два розовых пятнышка, где сошла кожа. Увидел, как от ходьбы трусы из ситчика слегка сползали, обнажая не тронутую солнцем нежную полоску тела. И ямочки под коленками тоже были не тронуты солнцем. А каждый шаг, каждое ее движение — плавное и бесшумное.

Он делал все новые и новые открытия и радовался им. Он с презрением думал о себе: как всего этого не замечал раньше — ослеп, что ли? Мысли его радостно метались, и непроходящее удивление будоражило сознание. Неужели это она ходила по цеху в синем замасленном халатике, а руки у нее были черными от бронзовых втулок, которые она перебирала, перемеряла? Неужели это она выговаривала ему: «Не приму я эти втулки! Напишу рапорт сменному!»

Ему хотелось крикнуть: «Нет! Этого не было! Нет!»

Но он не крикнул, а что-то пробормотал. Она оглянулась и посмотрела на него своими разными — серым и коричневым — глазами и заметила, что он покраснел.

— Что ты? — удивилась она.

— Ни-ничего,— ответил он.— Устала?

— Нет... Ты как себя чувствуешь? Не знобит? Лицо у тебя красное.

— Это загар,— буркнул он,— пойдем, пойдем.

Он почему-то подумал о тете Марусе. Она возникла в его воображении полная, улыбчивая, по-ути-

чому переваливающаяся при ходьбе с боку на бок. Ее глаза весело поблескивали, а большие натруженные руки были полны тепла. Ему всю жизнь не хватало такой тети Маруси, которая может сварить борщ, отутюжить брюки, поставить горчичники, с исключительной женской тщательностью собрать в баню и дать хорошего подзатыльника, когда заслужишь.

Теперь его подруга, сама того не ведая, разделила с ним тетю Марусю. И, конечно, Валерку.

Валерка тоже был необходим ему. Он всегда дружил с детдомовскими салажатами. Помогал им мастерить самострелы, вытирал носы и брал под защиту, когда кто-нибудь обижал их. С Валеркой он бы поладил. Намастерил бы ему всяческих мальчишеских орудий, построил бы голубятню. Они завели бы хороших голубей и вместе гоняли бы их, свистя в четыре пальца. Он бы научил Валерку свистеть в четыре пальца. А когда они бы шли в баню, он бы тер Валерке спину и прочие малодоступные места. И называл бы его Валерка по имени, без отчества, и без «дяди». Какой он к черту дядя!

Так он шел за своей подругой и строил дерзкие планы своей будущей жизни. И жизнь эта казалась ему прекрасной, огромной, вместительной, как весь мир. В центре же этого мира была она, идущая впереди по тропке, с двумя розовыми пятнышками на обгорелых плечах.

Она снова оглянулась, застала его врасплох, и ему показалось, что ей известны его мысли и, поскольку она не протестует, то, стало быть, согласна с ним.

Так они дошли до маленькой безлюдной бухточки, где волны не разбивались с грохотом, а тихо булькали в камнях. Здесь решено было искупаться.

Они спустились к воде и сели на плоский, нагретый камень. Своим плечом он опасливо коснулся ее плеча, и от этого прикосновения сердце застучало чаще обычного.

«Неужели она не почувствовала перемен, которые произошли после минувшей ночи? — думал он.— Неужели не испытала странного превращения и я для нее по-прежнему токарь из второго механического, не более?» Ему стало обидно, и он хотел было рассказать ей обо всем, но не решился.

— Пошли купаться? — Она соскочила с камня и зашагала к воде. И ее розовые пятки двумя яблоками покатились с берега в море. Вода здесь была прозрачная и сразу по пояс. Девушка шла, плавно поворачивая плечи то влево, то вправо, и разводила воду руками, словно разгребала сено. Когда же она поплыла, он со скалы увидел ее в прозрачной воде. Ее движения были неторопливы и плавны, как в невесомости, и напоминали танец. Где это она научилась танцевать в воде? А может быть, она всегда так плавала и он просто не замечал этого?

— Чего ты стоишь? Давай, давай! — позвала она и замахала рукой, но он не решался войти в воду, чтобы не нарушить гармонию.

Недалеко от бухты возвышалась серая мергелевая стена. Сверху вниз по диагонали ее рассекала трещина, которая образовывала узенькую тропку, в конце которой был уступ, и на нем рос куст с пунцовыми цветами. Дикий шиповник или иное растение.

Она первая заметила куст и крикнула:

— Смотри, какие цветы!

— Я слазаю! — предложил он, но она замотала головой:

— Я сама. Слышишь, я сама! Валерке отвезу.

Он не посмел ей перечить. Она подошла к стене и стала подниматься, прижимая ладони к камню, словно поддерживая его.

Она двигалась медленно, босой ногой нащупывая узкую каменистую тропку, и два розовых яблочка то соединялись, то снова расходились. Было тихо, только в маленькой бухточке булькало море — кто-то выливал из бутылки воду и никак не мог вылить.

Он стоял внизу, спиной к морю, и, задрав голову, следил за ней. Сперва она казалась ему дикой ящеркой, которая ловко карабкается вверх по отвесной скале, и его забавляло и радовало, что она, такая вездесущая, забралась туда, куда ему ни за что не забраться. Но постепенно им стала овладевать тревога, и он хотел вернуть ее. Но побоялся спугнуть криком. Куст был уже близко. Она сильнее прижалась к скале и закрыла глаза, чтобы перевести дух. Потом подняла веки, осторожно, словно и это едва уловимое движение могло нарушить равновесие, и увидела над головой цветы, пламенеющие в лучах солнца. Она вдохнула сладкий дурманящий запах цветов и медленно потянулась к кусту. Рука не доставала. Пришлось привстать на носочки. Она дотронулась до куста. И вдруг нога дрогнула и соскользнула с узкого выступа. Девушка почувствовала, что теряет равновесие, и ухватилась рукой за куст, но ветка обломилась.

— Сеня! — крикнула она отчаянно, как птица испуганная или подстреленная.— Се-е-е...

— Галя! — отозвался он и сорвался с места, бросился к ней, обдирая ноги об острые камни, падая и задыхаясь, тупея от непомерной боли, которая сверкнула в его сознании и тягуче разлилась по всему телу.— Галя!

Она не отозвалась.

Галя лежала на сухой, потрескавшейся земле, поджав колени и раскинув руки. Тонкая шея как-то неестественно надломилась, и голова откинулась на плечо. В руке она сжимала веточку с красным цветком. Для Валерки.

Сеня подбежал к ней. Упал на колени. Осторожно, боясь причинить боль, повернул ее на спину. Прижался ухом к груди. Он напрягал слух, но море мешало своим бульканьем. Он не слышал сердца, но чувствовал, как от ее волос пахло травой и морем. И этот запах, живой и знакомый, вселял в него надежду.

Он поднял Галю с земли и удивился, какая она легонькая. Одной рукой он обнимал ее за плечи, другой — держал под коленками и шел. Он не чувствовал солнца. Не видел моря. Прекрасный и радостный мир, который судьба даровала ему этой ночью, исчез: «черная дыра вселенной» засосала его — поглотила, как поглощает все вокруг, даже собственный свет.

Сеня не мог ни о чем думать. Беззвучные слезы текли и текли, оставляя горячие следы на щеках. И губы почему-то шептали слова песни старого истопника Пархомова:

Канареечка жалобно поет...

Иногда он ненадолго ощущал реальность своего бытия и думал, что теперь некому будет ругать его за неточность. И как он будет жить без этого? Еще он думал, что, когда вернется в Муром, перейдет жить к тете Марусе и Валерке, если они его примут, и будет помогать им, как помогала Галя.

В этот вечер, в шесть часов, к акации у почты, на которой было приклеено объявление о продаже красного пончо, пришла седая женщина с коричневым лицом и две девочки, кучерявые и черные, как негритянки. Но с пончо никто так и не пришел. А может быть, и не должен был прийти — шутки ради повесил объявление, написанное на оборотной стороне телеграфного бланка.

ны», о которой по сей день не умолкают споры,— тоже из этой породы людей; в его сознании также крепко угнездилась уверенность в своем праве на лидерство.

Праве? Тут, пожалуй, большее. Тут речь идет об осознании не просто права, а обязанности стать во главе дела, повести за собой людей. Обязанность же диктуется ясным осознанием того, что ты, Алексей Чешков, Юрий Хмель, Игорь Прончатов, знаешь дело, видишь его перспективу, его цель — сегодняшнюю, завтрашнюю, дальнюю, видишь реальные рычаги, способные двинуть дело, помочь людям перестроиться на ходу. Такие герои — и нередко именно молодые герои — стали знаменательной приметой поисков нашего телевизионного кино последнего времени. Из породы таких героев и молодой главный инженер крупного строительного треста Виктор Нефедов (о нем рассказывает украинский телефильм «Трудные этажи»). Из той же породы и молодой начальник цеха металлург Борис Рудаев (фильм «Обретешь в бою», созданный также киевлянами) и совсем еще юный паренишка, герой украинского же фильма «Свадебные колокола», который едет на Восток не за «запахом тайги», а чтобы своими руками делать дело, чтобы открыть себя, свои возможности.

И вот по принципу жесточайшего контраста на экране возникает фигура иного «лидера». Внешне обаятельный, вроде бы что-то знающий, что-то умеющий. Знающий имена «знаменитостей», умеющий водить чужую, обманом взятую машину. И уже одно то, как машину взяли, красноречиво свидетельствует: молодой «лидер» микрогруппы школьников (сам он уже окончил школу, да никуда не поступил — ни работать, ни учиться) действительно «воспитал» своих, как он их называет, «козликов». Сын хозяина машины, мальчишка с чистой душой и чистыми мыслями, на предложение «покататься» отвечает спокойным «нельзя». И нет в этом «нельзя» ничего от запуганности, от «правильности» пай-мальчика. Просто человек уже сейчас, в те годы, когда на верхней губе чуть-чуть пробивается пушок, умеет быть ответственным за себя, перед собой. Вот тогда-то, без команды, великолепно вышколенный, умеющий в любой момент подыграть «лидеру», один из членов «козлиного» коллектива симулирует приступ аппендицита. Тогда-то и машина пускается в дело. И вот едут по дорогам Подмосковья несколько ребят — еще, пожалуй, не совсем парней, но уже совсем не подростков. И «игра» все более и более обретает серьезность.

Жизнь идет своим чередом. Ей, жизни, некогда специально задерживаться, чтобы читать нотации заблудшим «козликам», и это не от равнодушия или «замотанности». На такую «замотанность» может ссылаться ученая мама паренька, разрешившего пользоваться отцовской машиной, но фильм строится так, что отчетливо понимаешь: «замотанность»-то порождена равнодушием, бескультурьем души, хотя, казалось бы, ученая мама и ее коллеги обращаются в высших сферах научной мысли и спорят о делах воистину олимпийских. Прикосновенность, как писали в старину, к «гению разума» способна породить в людях этакое подслеповатое гениальничанье, «умную» позу,— вот о чем задумались сценаристы фильма «Ваши права?» Г. Полонский и А. Ставицкий. Они очень точно показали, что дешевая игра в интеллектуализм у самозваного «лидера» и интеллектуализм, позирующий, занятый самолюбованием, тот, что открывается в эпизоде с ученой мамой, родственны.

Есть в этом фильме и такой эпизод. В жэковской библиотеке идет читательская конференция по некоей, никому не известной книге с участием автора. Девочка-отличница по бумажке, казенными словами, говорит что-то о «незабываемых образах» и «воспитательном значении». «Козлики», от нечего делать забредшие на «мероприятие», задают вопросы автору и учительнице, ведущей обсуждение. Вопросы обнаженно-безжалостны и — что поделаешь! — закономерны. Но тут уже не девочка-отличница, не по бумажке, а писатель и учительница обрушивают на головы пареньков тяжеловесные глыбы «правильных» слов, щедро сдобренных упреками и даже угрозами. Потом-то и возникает «ситуация с машиной». Этим-то и передают старшие, сами того не ведая, духовное «лидерство» самозваному «козлиному» вожаку. Этим нивелируются «правильные» слова, теряющие смысл в устах неумных воспитателей.

Но главное, пожалуй, в том, что сам «лидер» мечется, душе и рассудку его неуютно, он понимает свое самозванство, деланность своего авторитета. Он приходит на экран уже деформированным тягой к мгновенной славе, к легкому успеху, для него не только средство воздействия на других, но и вожделенный внутренний идеал — придуманное знакомство с «Наташкой Белохвостиковой» и «Андрюшей Вознесенским». Он сам, пусть и неосознанно (но оттого лишь больнее, пожалуй), понимает, что его игра в элитарность, в избранность — безнадежно банальная, дешево тиражированная пустота. Ему хочется чего-то, это что-то он выдает своему бывшему школьному товарищу, случайно встреченному по пути члену студенческого строительного отряда как реальность, как осуществившуюся мечту: тут и мифическое общение со знаменитостями и якобы учеба на «японском отделении». И приходится срывать злобу на студенте, без труда открывшем ложь...

А потом — лихой «наезд», варварское уничтожение колхозных огородов. Это уже не «игра» — это действие. Тут и пролег водораздел; переступив непроизвольно за эту черту, «козлики» взбунтовались и ушли, а «лидер» остался в краденой машине поразмышлять «о времени и о себе».

Я пишу эти слова Маяковского без какой бы то ни было иронии по отношению к незадачливому неиавистнику чужих помидоров. Если такие герои, как Юрий Хмель, словно ощущая в своей душе импульс времени, соглашаются стать лидерами в том или ином коллективе или даже предлагают себя в таковом качестве, то их поведение как раз и есть итог, фаза размышлений «о времени и о себе». Они утверждают себя, и не заметить, не признать, тем более осудить их за это было бы ханжеством.

Но, размышляя сегодня о таком самоутверждении молодого героя, телевизионный экран тем более пристален к цели, к средствам такого самоутверждения. Телеэкран особенно внимателен, анализируя связь человека с обществом, процесс взаимного обогащения человека и коллектива, когда переход от слов к делу совершен и молодой герой получает возможность раскрыть себя, повести за собой других.

Полнотой раскрытия этого главного и дорог мне Юрий Хмель. Для него внутренняя потребность, само собой разумеющийся образ жизни, образ мыслей равнозначны возможности сполна выявить себя, дать обществу максимум того, на что способны молодые сила, ум, воля. Оттого Юрий убеждает зрителя в своей правоте, борясь с мелочной опекой и в быту и в труде; оттого, направляемый старшими товарищами, отстаивает соревнование созданной по его инициативе комсомольско-молодежной бригады с лучшей бригадой колхоза на равных, а не на «льготных» условиях.

Правы были Юрнй Хмель и его друзья и тогда, когда решили в страду отремонтировать дорогу (иа скверной дороге городские шоферы теряли тонны зериа). Но... показ работы ограничился одним только кадром: молодежь с песней идет иа воскресник. Увы, энтузиазм, царивший в этот момент иа экране, не передался зрителю, да и не мог передаться. Сценарист попытался иасытить пафосом ситуацию, в общем-то тоже ие очень приятиую: в разгар уборки, когда машина за машиной вывозится зерно, молодежь — так уж получилось — спохватывается и, благословляемая слишком «занятым» для такой «мелочи» председателем, устраивает воскресник. Логично? По-моему, нет. То есть дорогу-то починить иадо было, и, конечно же, с энтузиазмом. Только не получилось ли, что энтузиазм этот потрачен на авральное залатывание прорех?

В «Юркиных рассветах», где труд — это особый, объединяющий все «герой» фильма, особенно важно появление на экране старшего брата Юрия, Ивана Хмеля. Он радуется жизни с какой-то удивительной, раз и навсегда располагающей к себе открытостью. И за радостью Ивана читается: как здорово, что жизнь хороша, что сила твоя, что сила эта нужна людям, что они ценят твой труд, равняются по тебе, трудясь рядом.

Радость Ивана — это и радость крестьянина, живущего во все большем д о с т а т к е. Но нет, категорически нет и не может быть в этой радости, в душе такого человека, как Иван Хмель, подчиненности «барахлу». Работает Иван «как зверь», работа, труд для него — главное в жизни. Это работа с людьми, для людей, а значит, и д л я с е б я среди людей.

Вспомнить Ивана — значит вспомнить и еще один образ «Юркиных рассветов», здорового парня в пожарной каске, хотя с Иваном его пути по сюжету не пересекаются. Юрию, колхозным комсомольцам «каска» задает странную задачу: «У меня семья, дети, а вы меня по собраниям таскаете». С крыши человека сняли и на бюро привели — красил, значит, свою крышу. Нельзя сказать, что этот «труженик» с легкостью пишет заявление: «Не считать больше комсомольцем». С одной стороны, конечно, облегчение: на взносах экономия, с крыши снимать не будут, на собрания и воскресники опять же не ходить. С другой стороны, боязно: место колхозного пожарного на дороге не валяется, а ну как выйдешь из комсомола,— и с места турнут, а через два года все одно по возрасту выбывать... Вот ведь какие сложности!

Бред? Святотатство? Да, но парень-то реален, убедительно агрессивен. Попробуйте, обвините этого куркуля в каске, отменно знающего «правильные слова», в безделье,— не выйдет. Но если Иван Хмель и окружающие его люди заставляют думать о том, как труд в душе настоящего человека ставит на место все ценности мира, то расчетливый крикун резко вносит в фильм иные размышления — о том, что если поселилась в душе человеческой дрянь, то ею даже труд и тот можно осквернить.

Иван Хмель и парень-пожарник — прямые антиподы, непримиримые противники в том, что касается отношения к труду, к цели труда, к с е б е в т р у д е. У Юрия Хмеля тоже есть антипод — молодой чиновник Русаков, и непримиримость их порождена несовместимыми понятиями о профессии вожака, молодежного руководителя, о целях этого важнейшего труда. Тема непроста, найти ее точное художественное выражение нелегко. О конкретных художественных решениях можно спорить, но сегодня нужда именно в таких фильмах, социальная необходимость которых самоочевидна, а сопротивление материала велико, и добрая воля мастеров преодолеть сопротивление материала радостна. При всей неровности этих фильмов сегодняшнее наше искусство, а вместе с искусством и зритель проходят школу перспективную, сулящую отдачу. Оттого и дороги мне, в частности, размышления, идущие от фильма к фильму по сценариям В. Богатырева,— размышления о современной деревне, о том, как важно д о в е р и е людям, д о в е р и е людей себе. Размышления о з е м л е — Варькиной, Юркиной, общей нашей земле, переживающей пору обновления и рождающей настоящие характеры.

Оттого же дороги мне и упорные поиски Г. Полонского, у которого тоже своя тема, по-разному звучавшая в таких фильмах, как «Доживем до понедельника», «Перевод с английского» и вот теперь, недавно,— в «Ваших правах». Полонский средн прочего всегда привлекает тем, что ставит труднейшие задачи и перед «старшими» и перед «младшими», не делает скидок на возраст ни воспитуемых, ни воспитателей. Когда учитель, герой фильма «Доживем до понедельника», случайно встречает своего прежнего ученика, процветающего карьериста и делягу (этот не в пожарной каске на крыше, а в модном тряпье, в личном автомобиле), он, учитель, переживает чужую подлость как свидетельство собственного, пусть и частного, но поражения.

Вернусь еще раз к образу председателя колхоза из «Юркиных рассветов». Человек явно сильный и волевой. А чем дальше, тем больше чувствуется в подчеркнуто «современном» персонаже неуловимый переход делового расчета в холодную расчетливость, исключающую человеческий фактор из проблем хозяйствования. Ловишь себя на мысли, что сомнительная философия, цинично провозглашенная молодой председательской супругой Аллой, неудачной Юркиной первой любовью, и самому председателю не чужда. И не случайно именно эти два человека нашли друг друга. Согласитесь, всё это вещи социально небезразличные и способные стать основой интересного художественного анализа. Но «странности» председателя не получают оценку со стороны героев — вот и образа нет и проблема уходит в песок. И получается — если подходить с позиции «человека перед экраном», что конфликт, разыгравшийся в кубанском колхозе, подан невнятно. А зритель смотрит фильмы и соотносит их с информацией, которую приносит телеэкран, с проблемами времени, всенародно обсуждаемыми в печати. Так что и благостность и компромиссность тех или иных позиций героев того или иного произведения оказываются не частными дефектами конкретного многосерийного или односерийного телефильма, а дефектом «модели» человеческих отношений, с которыми знакомит миллионы зрителей сценарист.

За последнее время телеэкран познакомил зрителя с таким количеством интересных, побуждающих к размышлению лент, да еще на современную тему, с проблемой преемственности поколений и традиций, с проблемой молодого героя в центре, что можно без колебаний говорить о качественно новом этапе в развитии нашего телевизионного кино. Динамика времени, динамика проблем находит отклик в повседневной практике искусства телевидения. Динамика будет лишь возрастать, проблемы — усложняться. Оттого и жизнь телевизионного кино будет становиться все напряженней. А оттого и хочется еще раз сказать доброе слово о тех, кто не умозрительно, а в живом деле, не боясь острых проблем и трудного материала, вглядывается в лицо современного молодого героя, в лица его старших товарищей и ровесников, в лицо времени, рождающего проблемы и характеры, и делает дело. Социально необходимое дело.



память времени

Часть моей библиотеки составляют книги, которые я собираю с двенадцати-тринадцатилетнего возраста,— о географических открытиях, путешествиях, рассказы бывалых людей, поколесивших по свету. Среди них книги мореплавателей Головнина, Коцебу, Бадигина, полярных путешественников Нансена, Скотта, Моусона, Ушакова, исследователей Центральной Азии Семенова-Тянь-Шанского, Пржевальского, Козлова, книги Миклухо-Маклая, Ливингстона, Фидлера, Хейердала, Федосеева, Даррелла. И каждое новое приобретение для этого раздела библиотеки приносит мне радость не столько коллекционерскую, сколько читательскую.

Время от времени я перечитываю эти книги, каждый раз по-иному, делая для себя все новые и новые открытия. Сначала меня в них привлекала приключенческая сторона — борьба с трудностями, преодоление препятствий. Потом чтение утоляло и одновременно разжигало страсть к путешествиям. Попозже я с особым вниманием изучал списки снаряжения и продовольствия, способы завьючивания лошадей, сохранения продуктов. Затем стал перечитывать страницы, на которых рассказано о взаимоотношениях людей в коллективе, на долгое время оторванном от большого мира, о взаимоотношениях руководителя с товарищами по работе. Многому меня научили эти книги и еще многому научат...

«В небе Чукотки» полярного летчика М. Каминского у меня в двух изданиях — два тома, первая и вторая книги мемуаров, изданные в Магадане [1], и второе издание первой книги, выпущенное издательством «Молодая гвардия». Третьей книги еще нет.

Мне еще не доводилось видеть такой большой разницы между первым и вторым изданиями одной и той же книги, такого роста литературного мастерства мемуариста. Человек, на склоне лет осваивающий писательство, показал образец строгой взыскательности к себе — к этому следовало бы присмотреться иным профессиональным литераторам. Сравнивая первое и второе издания, видишь, как М. Каминский овладевает секретами ремесла — легче, раскованнее становится язык, рассказ уступает место показу, больше становится диалогов. И здесь сказывается привычка человека, уважающего труд, любое дело стараться выполнить как можно лучше.

С первым изданием наверняка бывало, что покупатель, полистав книгу, оставлял ее на прилавке магазина. Скучно, в анкетном стиле начинался рассказ о «цирке» Гроховского,— коллективе, интереснейшем по делам, людям, работавшим в нем, по личности его руководителя. От второго издания не оторваться уже после первой страницы. Вроде бы и незамысловато написан открывающий книгу раздел «Главный аэродром страны», а берет за душу, создает настроение, вызывает интерес к тому, что будет дальше. А дальше — рассказ о Павле Игнатьевиче Гроховском, человеке незаурядном, чем-то схожем с Сергеем Павловичем Королевым. И спасибо М. Каминскому за то, что он познакомил всех нас с Гроховским.

Гроховский показан в окружении сотрудников, которые были не слепыми исполнителями его воли, а такими же по характерам творцами нового, как и он сам. О каждом сказано немного, но очень выразительно, точно найденными словами. Право же, стоит труда удержаться от пересказа книги М. Каминского, особенно тех страниц, где говорится об Анисимове и Чкалове, Урлапове, о том, во имя чего работал «цирк». И хоть не люблю я, когда мораль высказывается «в лоб», слова, которыми заканчивается рассказ о КБ Гроховского, принимаю как наказ отца, всей жизнью заработавшего право на это поучение.

Из того, что я прочел об авиации, пожалуй, только книга М. Галлая так же ярко, как книга М. Каминского, показывает творческое начало в работе летчика. Первым авиаторам, осваивавшим небо Севера, небо Чукотки, приходилось начинать с нуля. У авиации в целом опыта в то время было немного, а у полярной— практически никакого. Каждый полет в этих условиях был актом творчества, так как приносил самое ценное — опыт, знания, умение. И подвигом — ведь за этот опыт приходилось платить не только авариями, вынужденными посадками, голодом и холодом, но порой и жизнью.

Первая глава рассказа о полетах над Чукоткой называется «Предшественники». Здесь М. Каминский выступает как историк, раскрывает одну из славных страниц прошлого нашей авиации, воздает должное самым первым, хотя сам он, становясь полярным летчиком, не мог использовать их опыта. Не проводились тогда конференции и симпозиумы авиаторов, не было специальных журналов, где печатались бы статьи под деловыми заголовками вроде «К вопросу о пережидании восьмидневной пурги без палатки и меховых спальных мешков в условиях температуры—42° С» или «О причинах и следствиях образования тумана в ясную и безоблачную погоду».

Свой опыт М. Каминский накапливал сам. И, рассказывая об этом, он предельно безжалостен к самому себе, об ошибках говорит подробнее, чем об успехах, так как в тех условиях нельзя было дважды спотыкаться об одну кочку. Чем-то его книга в этой части

[1] О первом издании мемуаров М. Каминского в «Юности» была напечатана статья Г. Медынского «Честность и мужество» (см. № 10 «Юности» за 1968 г.).

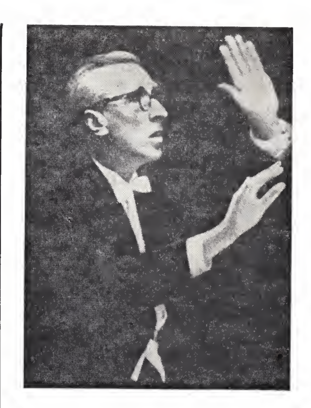
напоминает дневник Робинзона Крузо. Так же резко выражено отчаяние при неудачах, так же сначала несмела радость при успехе, так же постепенно растет ощущение своего умения, своей силы. И вот человек-творец становится настолько уверен в себе (не самоуверен!), что поднимается над собственным опытом, приобретает право на осмысленный риск—полет на неисправном самолете или посадку в условиях полярной ночи. Но все-таки главная заслуга М. Каминского как одного из пионеров чукотской авиации не в том, что он, многократно рискуя, накопил опыт, а в том, что он остался со своими ближайшими товарищами, о которых так тепло рассказал в книге, на вторую зимовку, чтобы передать этот опыт другим. Полярная авиация и славные традиции ее были созданы не сезонниками, приезжавшими на заработки, а людьми, для которых освоение Севера стало делом жизни.

Если бы в книге говорилось только о делах чисто авиационных, и тогда она читалась бы с большим интересом. Но у М. Каминского достало таланта рассказать о многих людях других профессий, с которыми его сводили жизненные пути на Чукотке,— о партийных работниках, геологах, зоотехниках, учителях, врачах.

Наша мемуарная литература до обидного бедна книгами людей рядовых. Например, Военное издательство Министерства обороны СССР выпустило очень интересные и нужные мемуары ряда виднейших полководцев Великой Отечественной войны, которые помогают осмыслить величайшую в истории человечества битву. Но маршал, генерал видели войну не в том ракурсе, что солдат. Как сказано А. Твардовским, «генеральское оружье — карандаш да телефон». И хорошо бы их видение войны дополнить видением солдата. Того солдата, что «шел в огонь, врага кляня», что сходился с ним врукопашную и в которого твердо верили его командиры. К сожалению, солдатских мемуаров пока почти что и нет. И в литературе мирного времени мне лично не встречались мемуары рабочих, строивших Турксиб, Сталинградский тракторный, Днепрогэс, Беломорско-Балтийский канал, Волго-Дон, магистраль Абакан — Тайшет, трактористов, поднимавших целину Алтая. О крупнейших стройках наших дней — ВАЗе, КамАЗе, Саяно-Шушенской ГЭС, Курской атомной, об освоении Тюмени — хорошо, интересно рассказывают журналисты, писатели, взявшие шефство над этими стройками. Но это все-таки взгляд со стороны, а не изнутри. Спору нет, со стороны многое виднее, взгляд шире. Но изнутри-то ближе видно. Даже самый зоркий писатель не увидел бы на Чукотке тридцатых годов многого из того, что увидел М. Каминский, особенно по части авиационной специфики.

Почему бы литераторам не поискать среди парней, едущих, скажем, на строительство БАМа, такого, что и после трудного рабочего дня находит силы осмыслить события этого дня, занести их в дневник? И пусть их шефская помощь даст результат не завтра, не через год, а только тогда, когда этот парень, состарившись, выйдет на пенсию. Лишь бы такая книга когда-нибудь состоялась.

О. ВЕЧКИН,
инженер-геолог



«Это надо — живым!..»

...Потом ко мне подошел незнакомый человек — наш, русский. «Вы были в 1942 году на фронте?» «Был». «Село Первое Октябрьское помните?» «Помню». «Первую гвардейскую стрелковую дивизию помните?» «Конечно, помню!» «А какое это страшное время было, помните?» «Разве это можно забыть!..» И тут все вспомнилось: доктор экономических наук Борис Яковлевич Ионас, тогда совсем еще молодой человек, служил переводчиком в дивизии генерала Руссиянова, где в те дни были и мы с Долматовским. Короткий разговор воскресил в нашей памяти многое, очень многое, что мы видели и переживали в то действительно страшное время. Мог ли я тогда подумать, что через двадцать два года мы встретимся в Берлине, в столице дружественной нам Демократической Германии, при исполнении на немецком языке «Реквиема», посвященного тем, кто погиб в борьбе с фашизмом...

Дм. КАБАЛЕВСКИЙ

(«Из воспоминаний разных лет», «Советский композитор», 1974.)

Бывают в жизни такие встречи, которым никогда не изгладиться из памяти. Я расскажу о двух из них, связанных с личностью и музыкой нашего замечательного композитора Дмитрия Борисовича Кабалевского. Отделенные одна от другой двадцатью двумя годами, эти встречи

неразрывны — та, на полях Великой Отечественной войны, и та, в поднявшемся из руин Берлине, столице Германской Демократической Республики.

Трудно передать мое волнение, когда я ознакомился с появившимися вскоре после второй нашей встречи воспоминаниями композитора — это было в журнале «Советская музыка», а затем уже эти взволнованные строки Кабалевского вошли и в сборник, адресованный юношеству. Только одну поправку хотелось бы внести: село, где война свела нас впервые с Кабалевским, называлось не Первое Октябрьское, а Первое Советское...

А затем уже было то потрясение от вдохновенного, пронзительного «Реквиема» Дмитрия Борисовича на стихи Роберта Рождественского, услышанного мною на первой зарубежной его премьере в помещении знаменитой берлинской «Комише опер».

Но сначала хочу объяснить, как я оказался в Берлине в те дни. И не только в те дни, ибо мне довелось участвовать в боях за Берлин весной 1945 года, уходить из Берлина в составе танковой армии Рыбалко 2 мая с площади перед дымящимся рейхстагом в танковый рейд на освобождение Праги, а затем, в 1963-м, вернуться сюда, чтобы вложить свою лепту строителя в восстановление столицы ГДР. Вернуться не на день-два, а на несколько лет. И вот в 1964 году мне предложили билеты в «Комише опер» на «Реквием» Кабалевского и сказали, что сам автор приехал на премьеру. И тогда, в радостном ожидании концерта, я вспомнил с мельчайшими подробностями ту свою первую встречу с Кабалевским на фронте. Она возникла с такой отчетливостью, словно кадры военной кинохроники...

Зима 1942-го. Первая гвардейская ордена Ленина стрелковая дивизия, которой командовал генерал Руссиянов, стояла в пяти километрах от передовой. Передовая проходила по ту сторону реки Северный Донец, сразу за могучим бором. Было затишье. Затишье после больших боев.

В тот день, который оставил столь памятную веху в моей жизни, я дежурил по особому отделу. Ничто не предвещало особенных перемен, и я позволил себе отдохнуть после обеда. Скинув валенки, прикрылся полушубком и вздремнул часик. По улицам села, где расположилась наша дивизия, ходил патруль и в положенное время предстал передо мной с докладом о том, что никаких происшествий за время дежурства не произошло. Впрочем, добавил старший сержант Николаев, есть одно пустяковое дело — задержано двое подозрительных, но это не спешно, можно подождать до утра, а потом и разобраться.

— А кто такие? — спросил я больше для порядка.

— Гражданские. Какие-то Долматовский и Кабалевский.

Я растерялся... На стихи Евгения Долматовского, с которым мы встречались после выхода из окружения в октябре 1941 года, Кабалевский собирался написать марш нашей дивизии. Мы ждали приезда поэта и Дмитрия Борисовича, но все произошло как-то неожиданно, нас не успели предупредить об их приезде. Потом, увидев гостей, я понял, почему насторожился патруль: уж очень непривычно для фронта выглядели оба. Один в шинели, но очень «штатской» шапке, а второй в военной ушанке, но гражданском пальто. Однако это я увидел уже позже, при личной встрече. А пока...

— Где они? — спросил я, одеваясь на ходу.

— В баньку посадили! — бодро ответил старший сержант, не понимая моего волнения.

Я заволновался еще больше: знал, что банька-то не отапливается, а на улице стужа.

— И давно они там сидят?

— Да уж часа полтора,— отвечал старший сержант, едва успевая за мной (я почти бежал к этой баньке).

— Ну, узнает Руссиянов — будет нам! — сказал я по-прежнему ничего не понимающему Николаеву, спеша вызволить из баньки поэзию и музыку...

Вот так и состоялось наше первое знакомство с Дмитрием Борисовичем Кабалевским. Надо сказать, что две недели, которые он и Долматовский провели у нас, были беспокойными: наши гости в полном смысле слова рвались в бой. Нам, понятно, велено было за ними присматривать серьезно, чтобы, не ровен час, они не попали под шальную пулю. А они просились на передовую, в разведку, и их трудно было удержать. Когда марш был написан и военные корреспонденты Долматовский и Кабалевский уехали, мы долго вспоминали о них. В бои мы теперь уже шли с их маршем на устах. А значит, они были в наших рядах...

Кабалевский... Помнит ли он меня? Скорее всего, нет, да оно и понятно.

...В тот вечер «Комише опер» была переполнена. Берлинцы чинно гуляли по фойе и коридорам в ожидании премьеры... Пожилые дамы в меховых накидках, аккуратные стройные юноши бережно поддерживали за локотки своих аккуратных и стройных девушек. Праздничные костюмы, белоснежные рубашки... В фойе мы с женой увидели знакомое русское лицо — Тихон Хренников. Он стоял в одиночестве. Видимо, приехал вместе с Кабалевским, а тот оставил его, уйдя за кулисы театра. Нам очень хотелось подойти к Хренникову, но мы не решались: не знакомы с ним лично. Боялись показаться назойливыми, но в конце концов подошли: за границей неудержимо тянет к землякам. Хренников встретил нас очень приветливо. Разговорились, прошли вместе в зал, сели рядом.

На сцене за оркестром стоял большой, непривычно большой хор. Вернее, три хора: мужской, женский и детский. Прозвучал обычный сдержанный звук настройки инструментов. За ним — полная тишина. Дирижер Хельмут Кох поднял руки... Величественная, торжественная и скорбная музыка овладевала мною все больше и больше, унося в воспоминания о минувших военных годах, о людях и событиях, с которыми столкнула меня война. Думаю, что многие бывшие фронтовики в зале испытывали то же самое. И хотя «Реквием» — произведение со своей точной программой, музыка рождает очень много сугубо личного, она неотрывна от жизненного опыта человека, от своеобразной «программы памяти» слушателя. Каждый вспоминает свое. Но многое в этот вечер у публики «Комише опер» было общим, единым.

Я слушал, оцепенев. И мне вспоминалось...

Мы выезжали морозной звездной ночью. (И в музыке «Реквиема» ощущалось что-то снежное, звездное. Протяжный распев переливался без оркестрового сопровождения в детских высоких голосах, чистых и ясных: «Разве погибнуть ты нам завещала, Родина?») Сначала дорога шла лесом. Когда-то здесь были пионерские лагеря Харьковской зоны отдыха. Но вот мы выехали из леса. Дорога петляла меж холмов. Мрак постепенно отступал перед серыми сумерками. Чуть-чуть зарозовел восток. День обещал быть ясным, и для нас это было плохо. Еще в

полутьме над нами низко со свистом пронесся «мессер», за ним второй. Где-то впереди раздался звук их пулеметных очередей. Значит, что-то заметили. Что же? Через пять минут мы увидели, что на дороге горела машина, в которой взрывались, разметаясь во все стороны, боеприпасы...

Восток наливался багрянцем. Ох, уж этот багрянец, как он был сейчас не к месту! Мороз колюче обжигал лица. И вдруг... Остановились, пораженные. Слишком страшно было то, что мы увидели. На гребне холма, шагах в пятнадцати от нас, на фоне разгорающегося рассвета стояла лошадь, запряженная в розвальни. Чем ближе мы к ней подъезжали, тем точнее виделось то, что издали казалось совершенно непонятным. Лошадь низко опустила голову. Ноги ее в коленях мелко дрожали. С брюха, с боков свисали, замерзая на ходу, оплывающие сталактиты густой крови. Вся шерсть покрылась инеем. Дымились лужи крови на снегу. Лошадь, видимо, посекло пулеметной очередью. Мирная, маленькая, деревенская мохнатая лошаденка держалась из последних сил. На розвальнях, в соломе виднелась какая-то поклажа, сундук, на нем варежки...

Быстро светало. Все вокруг становилось отчетливым, острорельефным. Чуть ниже, шагах в десяти, лежала хозяйка розвальней. Лица ее не было видно. Голова укутана в темный платок, подшитые валенки, небогатая деревенская одежда — все это было таким домашним, таким знакомым, родным, так не вязалось с войной, пулеметными очередями. Но то, что она лежала на снегу недвижно, ничком, бездыханно, заставляло нас говорить почти шепотом...

И опять я услышал хор. Пели высокие и чистые детские голоса, а где-то внизу рокотали густые басы:

Я не смогу.
Я не умру...
Если умру, стану травой,
Стану листвой..
Дай мне ясной жизни, судьба!
Дай мне гордой смерти, судьба!

И я понял, что такое реквием. Это плач по убиенной русской матери, это плач матери-земли о своих убиенных сыновьях.

А басовый мужской хор, прорываясь через детские голоса, иногда даже их заглушая, был не в силах, как и мы тогда у холма, сдержать гнева. Оркестр, хор — взрослые и дети! — они требовали возмездия. И мы — вместе с ними.

А потом на мгновение возникла тишина — хор и оркестр умолкли. И у меня в сердце вдруг отчетливо зазвучала другая мелодия, которой не было в «Реквиеме», но которая звала к борьбе, борьбе решительной и справедливой: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война...» Но я не успел мысленно пропеть эту мелодию до конца, потому что услышал вновь музыку Кабалевского — стремительную, напряженно-упругую и чеканно-маршевую. Ту самую, которая в этот момент была необходима. Это был марш наступления, это была могучая поступь живых на пути к победе: «Железная поступь дивизий, точная поступь солдат...» И, наконец, торжественный мощный набат: «Во имя Отчизны — Победа!..»

С пригорка село показалось таким, словно великан топтал его сапогами. Дома раздавлены, как спичечные коробки. У крайней хаты осыпалась часть стены, через пролом виднелась русская печь.

Посредине пола — черный квадрат открытого люка и подпол. Я заглянул в подвал и обмер. Луч солнца высветил внизу фигуру полуголого замерзшего юноши, немца. Раненый, видно, лежал здесь, вскочил при взрыве, упал. Упал, закоченел и остался лежать, как мраморная скульптура. Я не мог оторвать от него взгляда. И горько думал: «Зачем ты пришел сюда, на чужую землю? Зачем разорил этот дом? Ты пришел завоевателем, и возмездие тебя настигло».

...Бой шел рядом. А я стоял и думал о жизни и смерти, об ужасах войны. Пуля, взвизгнув, неожиданно ударила в стену, едва не задев меня. Стал выбираться из хаты. Сельская улица насквозь простреливалась. Сравнительно безопасно можно было пробираться лишь за домами. Я так и сделал. И сразу же, в огороде, наткнулся на убитого солдата. Он не был ни красив, ни молод. Маленький мужичонка лет сорока, с рыжеватой небритой щетиной на ничем не примечательном лице. Одет в шинельку и, несмотря на страшный мороз, в ботинках с обмотками. Винтовка обычная, трехлинейная. Таких, пожилых, мы называли в армии «славянами». Что он был за человек? Наверное, трудился всю жизнь. Где-то в вятской или вологодской деревеньке вдова его, еще не зная о своем вдовстве, вытирает ребятишкам сопливые носы, кормит картошкой и работает за двоих, не жалея пота и сил,— в колхозе и дома...

А хор в «Комише опер» пел на немецком языке русские слова, понятные каждой матери, каждой жене, каждому человеку, у которого есть сердце. Простая, теплая, выстраданная ожиданием, верой и горем, напевная лилась мелодия.

Потом, как птица, щедро распахнувшая широкие крылья в ясную синеву неба, ворвалась в зал солнечная песня-клятва детей:

Именем солнца, именем Родины
клятву даем.
Именем жизни
клянемся павшим героям:
то, что отцы не допели,—
мы допоем!
То, что отцы не построили,—
мы построим!..

Это была не только клятва юного поколения Советской страны. Это была клятва каждого из нас, сидевших в тот вечер в торжественном зале берлинского театра. Клятва не допустить новых войн, клятва, которая объединяла и все поколения советских людей и тех немцев, которые, как и я, впервые слушали этот потрясающей силы интернациональный, патриотический музыкальный документ.

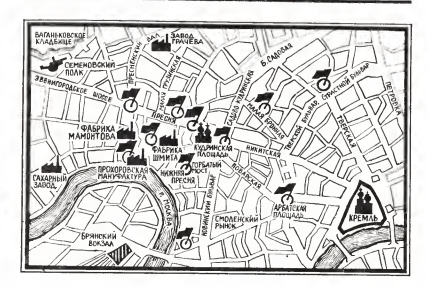
После концерта я подошел к Дмитрию Борисовичу. Я не мог не подойти к нему...

Есть встречи, которые проходят через всю жизнь. Обе мои встречи с Кабалевским именно такие.

Б. ИОНАС,
профессор,
доктор экономических наук

Д. АЛЕКСАНДРОВ

ИДУ ПО КРАСНОЙ ПРЕСНЕ



На карте Москвы район Красной Пресни своими очертаниями напоминает клин, направленный к центру города. Никитские ворота, Тверской и Суворовский бульвары — это Красная Пресня; улица Алексея Толстого, Патриаршьи пруды, Бронные улицы — это Пресня; Малая и Большая Грузинские улицы, Тишинка — и это все Пресня.

Между тем, не имея перед глазами карты города и не будучи жителями Краснопресненского района, мы обычно, не задумываясь, проводим незримую границу Пресни через площадь Восстания. Находясь у Консерватории или на Тверском бульваре, не все мы вспоминаем о том, что мы на Пресне. Это ощущение возникает, едва попадаешь на площадь Восстания. Название станции метро «Краснопресненская» узаконивает в нашем сознании границы района, которые не совпадают с его административными границами.

Случайность? Нет. Административные границы района могут меняться, да и менялись уже не раз. Тем не менее многие поколения москвичей безошибочно укажут на Пресню в тех ее неизменных и незримых пределах, которые сложились несколько десятилетий тому назад и с тех пор проходят через людскую память. От площади Восстания мы и начинаем ощущать Красную Пресню по этим границам: улицы Красной Пресни, 1905 года, Баррикадная, Заморенова, Николаева, Шмитовский проезд... Большинство названий имеет точный исторический адрес. Если, например, вы окажетесь на улице Николаева и спросите, почему именно э т а улица носит имя рабочего-большевика, вам ответят: «Потому, что рядом была фабрика Н. Шмита, а Николаев был начальником боевой дружины шмитовских рабочих». И вы поймете, что в многочисленных названиях отражена не только память благодарных потомков, но и чисто территориальная граница восставшей Пресни.

Эту границу сначала вы можете увидеть в Музее Революции. Вы увидите карту, покрытую многочисленными красными флажками — места интенсивных баррикадных боев, и отметите одну закономерность: со всей Москвы флажки как бы сбегаются в один район и в этом районе будто теряют свое значение символических знаков и превращаются в костры, во вспышки — так много здесь красного цвета. Это и есть та Красная Пресня, границы которой сейчас можно восстановить по названиям улиц.

Можно восстановить... Можно прочитать... Можно выяснить... Я смотрел карту города и района, читал воспоминания участников первой русской революции, ходил по залам Музея Революции. Все это относится к области знания. Я добавлял знания к тому, что давно мне было известно, к тому, что известно миллионам людей, каждому школьнику. События, происходившие на Пресне в начале века, стали хрестоматийными страницами истории нашей страны. Прошлое приходит к будущим поколениям в виде знания. Как у з н а т ь в сегодняшней Пресне ту, старую, вспыхнувшую флажками на карте в тихом зале музея? Как п о ч у в с т в о в а т ь, у г а д а т ь сквозь десятилетия давно ушедшие дни? Путь в прошлое не всегда лежит только через знание. Есть еще память чувств. Но и этому проводнику в прошлое нужны какие-то осязаемые приметы времени.

Мемориальные доски, названия улиц, памятники — все здесь возвращает мысль в прошлое. Но в ощущениях — сегодняшний день, сегодняшняя Пресня. Та же земля под ногами — знаешь это, но на этой земле — сегодняшняя Москва. Примет давнего времени очень мало, их почти нет. Это закономерно. Рабочие дружины за то и вели героические бои...

— Сейчас на Пресне завершается весьма интенсивный период реконструкции,— сказал мне районный архитектор Леонид Васильевич Киселев.— В течение последних десяти — двенадцати лет мы снесли одноэтажную деревянную Пресню — «ветошь», как мы ее называем. «Наследство» дореволюционной Пресни в этом плане уже ликвидировано, и в этой работе активное участие приняли все предприятия района. В предстоящей пятилетке мы доведем реконструкцию до конца. В архитектурном отношении на многие десятилетия вперед Пресня будет такой,

В в е р х у: план Пресни 1905 года. Флаги развеваются над местами баррикадных боев.

какой она станет к восьмидесятому году. Во многом она уже такая сейчас.

— Но... нынешняя Пресня, я не имею в виду новые микрорайоны, не производит впечатления новостройки,— сказал я.

— Правильно,— удовлетворенно кивнул мой собеседник,— так и задумано. Но и той, совсем старой Пресни начала века, вы уже не найдете. Ее нет,— заключил он с удовольствием, хотя я отнюдь не высказывал сожалений по этому поводу.

— На Пресне будет мемориальный уголок,— продолжал архитектор.— На улице Большевистской сохранилось несколько одноэтажных деревянных домиков. Их реставрируют, наполнят предметами быта рабочих семей начала века. Улица в этом районе будет вымощена булыжником, вероятно, будут поставлены газовые фонари — словом, попытаемся воспроизвести в натуре уголок старой Пресни.

После беседы с Л. В. Киселевым мне стало ясно, что к намеченной мной экскурсии в начало века по сохранившимся приметам времени я опоздал. По крайней мере на Пресне опоздал лет на пятнадцать.

Я думал о том, что было бы здорово пройти по этим улицам с человеком, чья жизненная судьба соединилась с революционной историей Пресни. Я видел групповой фотографический портрет участников баррикадных боев. Портрет был сделан во время празднования пятидесятилетия первой русской революции. Сейчас — семидесятилетие...

— Вот тут,— говорит Ваня, сворачивая в боковую аллею.

Я вижу памятник. Простой, из полуобработанного черного гранита, с лаконичной надписью. Теперь такие памятники не ставят. Похожий камень — пирамидальную глыбу черного гранита — я видел в центре Краснопресненского бульвара. Это первые памятники участникам Декабрьского вооруженного восстания. Их ставили в двадцатые годы.

— Этот камень на меня всегда производил большее впечатление, чем многие современные памятники,— говорит Ваня.

— Конечно, в этих камнях — время...— безотчетно соглашаюсь я.

В сквере, кроме Вани Солянкина, Тани Павловой и меня, нет ни души, и от этого он кажется совсем небольшим. В центре сквера — памятник пионеру, а тот, который мне показывают ребята, стоит в стороне, между кустами, и сразу не видел. Я бы, конечно, ни памятник этот, ни сам пионерский скверик не нашел бы. А нашел бы — так не обратил бы на него внимания. Трудно в этом сквере заподозрить что-то давнишнее. Ребята называют сквер «Шмитовский парк». «По-старому мы его называем»,— сказал Ваня. «По-старому» — значит так, как называли этот сквер их родители, а может быть, деды.

Ваня Солянкин и Таня Павлова — десятиклассники. Они родились, когда на Пресне, как говорил Леонид Васильевич Киселев, начался «период интенсивной реконструкции». Для архитектора этот период — вчерашний день, часть личной трудовой биографии, дело насущное. Для Вани и Тани «период интенсивной реконструкции» — вся их жизнь на Пресне. И скверик, отданный районному Дому пионеров, они называют по-старому: Шмитовский парк.

— Фабрика Шмита стояла здесь.— Ваня показывает рукой сквозь ограду сквера на противоположную сторону улицы.— По фабрике почти целый день стреляли, пока не зажгли. Сгорело все: она же мебельная была...

О том, что происходило на этой земле в начале века, он говорит так, будто это было на его глазах. Таня молча слушает, готовая вмешаться и что-то добавить или поправить, но, очевидно, Ваня не ошибается, раз она молчит.

А я откровенно радуюсь тому, что додумался попросить пресненских ребят быть моими гидами. Я пришел в школу, которая стоит рядом с Трехгоркой,— это оказалась 87-я школа — и обратился со своей просьбой к учительнице литературы Любови Алексеевне Зеленовой. Любовь Алексеевна выросла на Пресне. Ее отец рассказывал ей о баррикадных боях — это было в довоенные годы. «В ту пору я, конечно, не думала о том, чтобы эти рассказы записывать»,— сказала Любовь Алексеевна. Своим ученикам заслуженная учительница республики Л. А. Зеленова часто предлагает темы сочинений, связанные с понятиями «дом», «край», «родина». И разные внутренние пути и раздумья приводят ребят в этих сочинениях к родной Красной Пресне. Когда я сказал учительнице о том, что мне хотелось бы походить по Пресне с хорошим гидом, я быстро понял, что таким гидом может быть каждый из ее воспитанников. И мы отправились вместе с Ваней Солянкиным и Таней Павловой.

— Вы знаете, когда я начала в классе шестом-седьмом выезжать за пределы района, у меня было такое чувство, будто я совершаю большое путешествие в совсем незнакомый мир... Сейчас-то нам приходится ездить по всей Москве — разные там специальные школы, спортивные кружки, ну и вообще — выросли мы уже, а все равно чувствую себя дома, когда пересекаю эту черту...— Мы шли мимо метро «Краснопресненская», и Таня говорила о невидимых, но известных каждому ее краснопресненскому ровеснику границах мира.

— Здесь ведь совсем недавно была булыжная мостовая. Я так к ней привыкла, что мне все еще кажется странным этот асфальт...

— Вот здесь, на пересечении Баррикадной и Красной Пресни, была самая высокая баррикада.— Ваня возвращается к своим обязанностям экскурсовода.— Отсюда дружинники потом отходили переулками в глубь Пресни, туда, где сейчас Большевистская улица, а затем — к Трехгорке.

И мы поворачиваем в ту сторону.

— Посмотрите, как здорово сделано!

Ваня показывает на один из тех деревянных домиков, что чудом сохранился на Пресне с незапамятных времен.

Действительно здорово! Одноэтажный домик упирается торцом в белую стену нового здания музея Красной Пресни. В самой этой стене — ослепительно чистой и строгой — есть что-то мемориальное, а прилепившийся к ней низенький деревянный домик возвращает реальное чувство давно прошедшего времени. Здесь и будет восстановлен тот уголок старой Пресни, о котором говорил архитектор Л. В. Киселев. На противоположной стороне этой неширокой улицы находится здание Гидрометцентра СССР. Обыкновенное здание — кажется, не выше пяти этажей. Тем не менее контраст между обычными зданиями и этим уцелевшим домиком разительный. Не десятилетия — века, кажется, прошли с тех пор...

И дальше — почти вровень с Гидрометцентром — старое здание из красного кирпича. Здесь был штаб боевых пресненских дружин...

«Я пробрался на Пресню, разыскал начальника штаба боевых пресненских дружин Литвина-Седого и рассказал ему обо всем, что видел на баррикадах на Бронной и на Арбате. А потом собрался в обратный путь, но Седой приказал мне оставаться на Пресне. К тому времени положение в центре уже было тяжелое, рабочие отходили на Пресню, и вскоре сюда отошел с Бронной и наш отряд...» За не-

сколько дней до встречи с пресненскими школьниками я сидел в другом районе Москвы, в квартире старого большевика Андрея Григорьевича Носкова, и слушал его неторопливый рассказ. Во время Декабрьского вооруженного восстания Андрею Носкову было двенадцать лет. Он был одним из тех московских мальчишек, которые выполняли работу посыльных, разведчиков, связных. Когда было принято решение о прекращении восстания, мальчишек укрыли в рабочих семьях на то время, пока не минуют дни кровавых расправ.

Я разговаривал с одним из немногих ныне живущих участников Декабрьского вооруженного восстания и думал о том, что среди сотен книг, посвященных первой русской революции, есть и роман-хроника «Подвиг Москвы», в котором вместе с десятками невымышленных героев действует и ученик из крупнейшей московской пекарни Андрейка Носков. Я спросил:

— Андрей Григорьевич, есть ли кто-нибудь в Москве, кого вы помните по тем годам? Кто-нибудь, с кем вы встречались во время баррикадных боев?

Он задумался, покачал головой.

— Вообще-то участники восстания есть. Очень мало, единицы, но есть. А из тех, кого помню я, нет никого...

Я вспомнил эту часть нашего разговора, когда оказался перед штабом боевых пресненских дружин. Подумал, как было бы хорошо, если б сейчас рядом с этими ребятами тут стоял и Андрей Григорьевич: есть что-то неразделимое между воспоминаниями двенадцатилетнего мальчика 1905 года и «узнаванием» того времени ребятами, выросшими на Пресне десятилетия спустя. Впрочем, это «что-то» нетрудно обозначить: отцы и матери нынешних десятиклассников выросли на Пресне, а деды, вероятно, были ровесниками Андрейке Носкову...

— Почти у всех ребят нашей восемьдесят седьмой школы родители работают на Трехгорке. У кого мать, у кого и мать и отец. А у многих и бабушки работали на Трехгорке. И после школы многие наши девочки идут работать на Трехгорку — тут у нас уже целые династии сложились,— рассказывала Таня.

Таня Павлова и Ваня Солянкин, не сговариваясь, водили меня по тихим улочкам и узким, крутым переулкам. Здесь, в районе Трехгорки, Красная Пресня, пожалуй, осталась в большей мере той Пресней, которой она была когда-то. Во-первых, Трехгорка стоит — тот же комплекс зданий. Во-вторых, рельеф этой части Пресни в меньшей степени, чем другие, способствует всякого рода перестройкам. Здесь я почувствовал смысл слов, сказанных архитектором: «Пресня—очень удобный для жизни район, несмотря на большое количество предприятий. Уютный район. Отсюда люди иногда не хотят уезжать даже в лучшие жилищные условия». Как и всякий старый, исторически сложившийся район, Пресня имеет свои отличительные, неповторимые черты. А это часто человеку дороже многих стандартно-серийных удобств.

— Вижу, как появляются новые дома, как исчезают старые... Иногда становится беспокойно: понастроят двадцатиэтажные дома, снесут переулочки — какая же это будет Пресня? Ничего от Пресни не останется!

Это Таня говорила, когда мы стояли у миниатюрного особнячка в переулке Павлика Морозова. Особнячок сразу привлек мое внимание своими почти игрушечными габаритами и тоскливым видом обреченного на слом строения. Окна были забиты жестью, досками, штукатурка обсыпалась: казалось, что только невысокие колонны и есть та вещественная причина, по которой дом еще не рассыпался вконец. Между тем, как я понял, ребята привели меня к особнячку не случайно: им грустно было видеть это запустение и обреченность. «Еще несколько лет назад он был вполне крепкий на вид»,— сказал Ваня. По слухам, говорили ребята, в этом особнячке было одно из отделений прохоровской канцелярии. Так что, очень может быть, что этот домик имеет прямое отношение к Трехгорке.

Я ничего не мог сказать ребятам о судьбе особнячка, хотя даже нынешний весьма непривлекательный вид его не может не вызывать к нему сочувствия. Но то, что Пресня останется Пресней,— это я знал после разговора с Л. В. Киселевым. Никаких красивых современных, но абсолютно чуждых Пресне двадцатиэтажных домов, никаких широченных проспектов, никаких типовых башен и тому подобных типичных для новых районов примет современного градостроительства в этом районе не будет. Каждый новый построенный на Пресне дом, каждое сколько-нибудь значительное строение будет проверяться в первую очередь критерием «на вживаемость». Отсюда — отказ от повышенной этажности домов, от широких, прямых проспектов и т. п. Пресня сохранит свой архитектурный облик таким, каким он сложился исторически. (Это относится к старой части района.)

— Проходная Трехгорки,— сказал Ваня.

Узкий, вымощенный булыжником переулок уходил из-под ног вниз, прямо в распахнутые ворота старой московской фабрики.

— Здесь все кончалось. Сразу за проходной, налево, стена, возле которой расстреливали рабочих... Здесь и на сахарорафинадном заводе. Это дальше. Надо идти по Шмитовскому проезду.

Мы по-прежнему смотрели в распахнутые ворота Трехгорки. Въезжали и выезжали машины. «Собственно, это Пресня и есть»,— сказала Таня. И пояснила: «Район мы называем Краснопресненским. Он тянется далеко. Я иногда к знакомым езжу и удивляюсь: неужели, говорю, вы тоже в Краснопресненском районе живете? А сама Пресня — вот она. Мы ее почти всю и прошли».

Да, за полтора-два часа, не торопясь, мы совершили круг; обошли ту часть района, которая на карте Музея Революции помечена наибольшим количеством красных флажков. В последнем воззвании штаба боевых пресненских дружин говорилось: «Мы начали. Мы кончаем... Кровь, насилие и смерть будут следовать по пятам нашим. Но это — ничего. Будущее за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте Пресни будут учиться упорству...

Да здравствует борьба и победа рабочих!»

Многие из них увидели победу.

Мимо Трехгорки мы возвращались туда, откуда начался наш маршрут: на улицу Николаева, к школе № 87. Нам навстречу шла учительница Любовь Алексеевна Зеленова. Она несла еще не проверенные сочинения о Красной Пресне.

— Приходите посмотреть,— сказала мне Любовь Алексеевна,— тут может быть много любопытного...

Конечно. Эти сочинения о Пресне писали внуки участников событий девятьсот пятого года. Или правнуки.

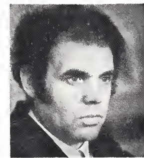
Я обещал.

К слову сказать: я теперь могу быть вашим гидом по Пресне. Поведу вас маршрутами пресненских мальчишек и девчонок, и вы узнаете Пресню. Всю. Вы будете вспоминать то, чего с вами никогда не было и что вы знали лишь из учебников,—вы вспомните это как реальность вашей собственной жизни. Ведь меня водили по Пресне внуки тех, кто... Или, может быть, правнуки.

А я поведу вас тем же маршрутом.

Леонид Латынин





Обращение к другу

У нежности есть чудная лора,
Когда близка лрощальная граница,
И, как с небес вернувшаяся лтица,
Нам различимей давнее вчера.
Проси тогда судьбу, не прекословь,
Послать тебе последнюю любовь.

Пусть в этот час не падают дожди.
И первый гром о лете не лопочет,
Скворец на пашне не хлолочет,
А лервый снег так скоро впереди.
Проси тогда судьбу, не прекословь,
Послать тебе лоследнюю любовь.

Пускай исход изучен наизусть,
Пусть явь и сон для разума едины.
И ты во всем лрекрасной середины
Достиг давно — и это пусть —
Проси судьбу, лроси, не прекословь,
Послать тебе последнюю любовь.

Но ты не мни, что грянет торжество,
Не суесловь о неизвестном рьяно.
Она приходит лоздно или рано,
Не приводя, быть может, никого...
Проси судьбу, лроси, не лрекословь,
Послать тебе последнюю любовь.

Гимн жизни

Пока живем еще на свете
И этой жизнью дорожим,
Да будем мудрыми, как дети,
И страха смерти избежим.

Ведь столько лет она трудится,
Века без устали косит.
Но мир живет, Земля вертится
И солнце на небе висит.

Не заросла травой дорога,
И выше улиц этажи.
И древних мудрая тревога
Времен минует рубежи.

Зимняя песенка

Треньканье Емели
На одной струне,
Иль поют метели,
В дальней стороне.
Снежная пороша
Гонит в дом двоих.
Хорошо, что ноша
На ллечах моих.
В танце неумелом
Кружат дерева,
И на черном — белым
Прежние слова.
Хорошо, что воля
И над жизнью власть,
Ночью среди поля
Не смогу упасть.
Тихо вяжет иней,
Снежные лути,
Городской лустыней
Весело идти.
Тороплю автобус,
Бормочу слова,
Кружится, как глобус,
Тихо голова:
«Не дойду-доеду,
Все мое со мной.
Не к утру, к обеду.
Не к тебе — домой».

Охота у Красивой Мечи

Пустыми были речи,
Да быстры были сборы,
Приток Красивой Мечи
И низкие заборы.
Та белая лоземка,
Та белая пороша,
Дырявая избенка
Да скинутая ноша.
Наверное, это лроще —
Раскаянье и мука,
Блужданье в белой роще,
Где ни листа, ни звука,
Где синий снег печален,
Нет наста и в ломине,
Патрон так музыкален
В старинном карабине.
Глухарь — шальная лтица,
Зачем тебе ко мне
Летится, а не спится
Удобно на сосне!
Хочу — в живых оставлю,
Хочу — нажму курок,
Я лодданными лравлю,
Не выучив урок,
Я школьник в этом мире —
Недоучив букварь...
Покорно, словно в тире,
Сломался мой глухарь.
Раскаянье высоко,
И чучело красно...
И этого урока
Понять мне не дано.

Э. ПАВЛЮЧЕНКО,
Н. ЭЙДЕЛЬМАН



Сто пятьдесят лет назад, 14(26) декабря 1825 года, была сделана отважная, отчаянная попытка переменить весь ход российской истории. На Сенатской площади в Петербурге, а затем близ Киева несколько сот офицеров вывели несколько тысяч солдат, чтобы уже с 1826 года не было в стране самодержавия, крепостничества, военных поселений, жестокой солдатчины.

Накануне сражения лидеры сознавали, что вряд ли выйдет удача. Но и через 33 года старый декабрист Андрей Розен ясно помнил особенное выражение лица Рылеева, когда тот, предвидя гибель, тихо сказал нескольким друзьям: «А все-таки надо...»

Пятерых казнили, более ста человек ушло в Сибирь, примерно полтораста было сослано на Кавказ, в дальние гарнизоны, поставлено под надзор.

Многие современники отмечали, что русское общество как бы «постарело». На виселицу, в каторгу и ссылку шла «Россия молодая» — лучшие, благороднейшие.

«А все-таки надо»...

Такое дело, конечно, не могло кончиться, пропасть в декабре 1825-го, оно имело, как мы знаем, почти столетнее победоносное продолжение. Само существование таких фигур («пропалых ребят», как выразился один из них) уже было необыкновенным, удивляющим явлением. В самом деле, для таких преуспевающих и знатных людей, как Волконский, Трубецкой, Пестель, Фонвизин, Лунин, Бестужевы, Муравьевы, уже достигших — невзирая на молодость (в среднем не было и тридцати!) — высоких офицерских и даже генеральских чинов, для них открывалось, казалось бы, ясное и гладкое поприще: к 40—50 годам командующие корпусами, армиями, высокие государственные должности. Не захотели, восстали — «А все-таки надо».

Почти в каждой семье, давшей декабристов, был раскол. Сама природа этого движения (представители высшего сословия, выступающие против самого этого сословия) создавала, можно сказать, типическую ситуацию: Муравьевы, Волконские, Орловы, «которых вешают» и «которые вешают».

Даже Герцен, младший современник и наследник декабристов, не брался объяснить, откуда, как «вдруг» появились «богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтоб разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия».

«Но кто же,— спрашивал Герцен,— их-то душу выжег огнем очищения, что за непочатая сила отреклась в них-то самих от своей грязи, от наносного гноя и сделала их мучениками будущего?..

Она была в них — для меня этого довольно теперь...»

Тайну появления этих людей приоткрывают немногие дошедшие до нас рассказы и документы об их детстве и юности, за 10—20 лет до Сенатской площади...

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МИХАИЛА БЕСТУЖЕВА

«Всякий раз, когда я пытаюсь воскресить в своей памяти самую отдаленную эпоху нашего детства и думаю о брате Александре, он постоянно представляется мне в полулежачем положении, в больших вольтеровских креслах, с огромною книгою в руках. Меня, как ребенка, прельщали иллюстрированные картинки, изображающие костюмы и быт разноплеменных народов, и я по целым часам стоял позади кресел, чтобы дождаться, когда брат, прочитав текст, откроет новую картинку. Помню, с каким снисходительным терпением он удовлетворял моему любопытству, объясняя мне, что вот этот калмык, этот самоед, а это алеут, рассказывал, как они живут, как ездят в санках на оленях или как плавают в байдарках; как промышляют... зверей, и потом, увлеченный желанием продолжать чтение, безжалостно прогонял меня, несмотря на мои неотступные просьбы показать и рассказать другие картинки. Эти сцены повторялись часто и, сколько я помню, всегда в том же отцовском кабинете, в тех же вольтеровских креслах, стоящих подле огромного шкафа, где помещалась библиотека избранных книг. Отец наш, как человек весьма просвещенный по тогдашнему времени, собрал в ней все, что только появлялось на русском языке примечательного; в другом отделении были книги на иностранных языках. Вход в кабинет нам не был возбранен, где на больших столах были разложены кипы бумаг, в шкафах за стеклами и на высоких этажерках были расположены минералы, граненые камни, редкости из Геркуланума и Помпеи, обделанные из редких камней вазы, чаши, канделябры и проч.; но ключи от библиотеки доверялись только прилежному Саше; и тогда как мы, меньшие его братья и сестры, довольствовались позволением любоваться только золото-расписными корешками книг, Саша имел право брать любую книгу, но читать ему позволялось только с позволения отца. Гордясь ли этою привилегиею, или точно увлекаемый любознательностью, но он читал так много, с такою жадностию, что отец часто принужден был на время отнимать у него ключи от

шкафов и осуждал его на невольный отдых. Тогда он промышлял себе книги контрабандой; какие-либо романы, сказки, как, например: Видение в пиринейском замке, Ринальдо Ринальдини, Тысяча и одна ночь и подобные и поглощал их тайком, лежа где-нибудь под кустом, в нашем тенистом саду...

На Крестовском острове, по соседству с нашею дачей, было очень много мальчиков, с нами однолеток. Однажды, когда нам надоели игры в солдатиков, мы стали играть в разбойников; начальство было присуждено брату Александру. Этот титул он принял как должную дань, но затруднился только, какое принять имя: Карла Мора или Ринальдо. Но, впрочем, он колебался недолго: антипатия ко всему немецкому взяла свое, и он принял титул Ринальдо Ринальдини. Началось действие. Ринальдо занимает с своей шайкой маленький островок, сообщавшийся с материком посредством небольшого плотика. Сбиры святой Германдаты нас окружили; нам угрожало неминуемое поражение и плен. Ринальдо приказывает отступить. Все бросились через кусты на плот; я один не расслышал сигнала, а когда он был повторен, плот уже отчалил, так что, прибежав к берегу, я остановился в нерешительности.

— Скачи, если не хочешь быть в плену,— закричал Ринальдо Ринальдини.

С необычайным усилием я совершил salto mortale... Падая на плот, я поскользнулся на мокрых досках, крепко ударился затылком — и лишился чувств. Что было потом, я не помню. Очнувшись, я увидел себя на плечах изнемогавшего от усталости брата; у него еще хватило настолько сил, чтоб поднести меня к реке, освежить и обмыть от крови мою голову.

— Ну, Мишель,— говорил он, ласкаясь ко мне,— рад я, что ты очнулся, а то мы бы перепугали матушку и сестер. Ты крепко ушибся, в этом я виноват, зато ты не попался в руки сбиров, ведь это было бы стыдно, а теперь, напротив, ты себя вел прекрасно. Братцы! Я горжусь им и делаю его своим помощником,— заключил он, обращаясь к разбойникам, окружавшим нас.

Другой случай тоже носит отпечаток подобного рыцарства.

Там же, на Крестовском острову, отряд маленьких удальцов, под начальством брата Александра, завладел лодкою, и мы поплыли вниз по речке, обтекающей кругом острова. Проплывая под мостом, лодка ударилась о подводную сваю и проломилась. Едва течением сорвало лодку с подводной сваи, как она начала наполняться водою. Нам грозила верная смерть. Все храбрые сподвижники Ринальдо оказались страшными трусами и думали искать спасения в отчаянных криках, которые совершенно заглушались пронзительным голосом маленького брата Петруши. Не потерялся только наш атаман Ринальдо. Он снял с себя куртку и заткнул наскоро дыру; потом схватил брата Петра и, приподняв над водой, закричал: «Трусишка! Ежели ты не перестанешь кричать, я тебя брошу в воду». Хотя мне тоже было страшно, но я кричать не смел. Воцарилась тишина, а нас между тем несло на середину реки, потому что единственный человек, бывший между нами, г. Шмит,— едва ли не вдвое старше старшего из нас,—который управлялся с веслами, до того потерялся, что вместо гребли кричал в такт: «Ух! ух!» — и махал веслами по воздуху. Брат Александр вырвал у него весло, сел сам и велел мне взять другое. Мы скоро приткнулись к берегу. Брат выскочил с причалом, но, выскакивая, оттолкнул лодку назад, и она пошла опять в реку, таща за собою брата, который не хотел бросить веревки и неминуемо погиб бы, если бы ему не удалось ухватиться за свесившийся сук дерева и тем остановить и притащить к берегу лодку».

Пройдет много лет. «Прилежный Саша» станет литератором Александром Бестужевым, вместе с Рылеевым будет издавать альманах «Полярная звезда», а потом сочинять революционные песни для солдат. В 1826 году с братьями Николаем и Михаилом пойдет в Сибирь, оттуда — рядовым на Кавказ, где в 40 лет погибнет в стычке с горцами. Но прежде он успеет стать одним из самых популярных писателей тех лет — Марлинским.

А вот совсем иной документ: письмо «государственного преступника» Михаила Лунина своему тезке и любимцу, одиннадцатилетнему Мише Волконскому (родившемуся в Сибири сыну декабриста Сергея Волконского и поехавшей за ним в Забайкалье Марии Волконской):

«Мой дорогой Миша. Твое последнее письмо доставило мне большое удовольствие, и я от души советую тебе изучать английский язык. Это не так легко и требует много внимания и прилежания, но ты уже не ребенок и, я надеюсь, справишься со всеми трудностями, как мужчина. Помни, мой дорогой, что твои успехи в науке являются лучшим доказательством, которое ты можешь мне дать в подтверждение твоей дружбы ко мне. Не читай книги, случайно могущие попасть в твои руки. Ты должен знать, что мир переполнен глупыми книгами и что число полезных книг очень невелико. Как только ты получаешь новую книгу, первым делом ты должен подумать, какую пользу может она принести тебе. Если ты найдешь, что она не заключает ничего, кроме пустых рассказов или скучных рассуждений, то отложи ее в сторону и возьмись за свою грамматику или за какую-нибудь другую хорошую книгу, которая дает положительные сведения. В твои годы время дорого. Каждый час, потерянный в болтовне или в чтении чепухи, потребует нескольких дней работы впоследствии. Часть лета можно употребить на прогулки, занятия спортом и т. д., но зима целиком должна быть посвящена занятиям с утра и до вечера.

Прощай, мой дорогой Миша. Поцелуй руки у твоей матери и сестры и поверь, что я навсегда твой верный друг. Михаил».

Французский, немецкий, английский, итальянский, фехтование, рисование, верховая езда — все это входило в «обязательную программу» домашнего дворянского воспитания. Ну, разумеется, не для всех; среди декабристов были и такие, кто по-французски не выучились, а по-русски писали так: «призывал ксибе солдат давал денги всем хто киему прихадил».

Не только и, может быть, не столько из книг и рассказов складывались взгляды молодых людей на мир. Родители... Некоторые примеры были отрицательными — среди старшего поколения немало крепостников, бюрократов, взяточников... Отец Пестеля сначала вскрывал письма и депеши для тайной полиции, позже самодержавно управлял Восточной Сибирью, грабя этот огромный край и не пропуская оттуда никаких жалоб на свое самоуправство. Позорно скуп для детей и расточителен для себя отец Лунина. Однако если отрицательные примеры влияют на детей «от обратного», вызывают мысли, желание, намерение делать наоборот, то еще более жадно воспринимаются родительское благородство, доброта, возвышенные чувства.

Точных подсчетов нет, но несомненно, что среди декабристских отцов преобладают «хорошие примеры». Родители Никиты Муравьева, Розена, Бестужевых не были революционерами, относились вполне лояльно к властям и, наставляя детей, по обычаю желали: «Бога бойся, царя чти, честь превыше всего». Откуда им догадаться, что честь — достоинство

опасное, которое может завести далеко, до самой Сенатской площади?

Кроме трех братьев Бестужевых (Александра, Михаила, Петра), игравших в благородных разбойников и едва не утонувших, в декабристы попадут еще двое: самый старший, Николай, и самый младший, Павел. Воспоминания Михаила, написанные много лет спустя, так и начинались: «Нас было пять братьев, и все пятеро погибли в водовороте 14 декабря».

Отец их — Александр Федосеевич, был одним из умнейших и просвещеннейших людей. В молодости он был так тяжело ранен в морском сражении со шведами, что матросы сочли его мертвым, собрались бросить тело за борт, но в последний момент вдруг обнаружили еле заметные признаки жизни. Чистая случайность не пресекла род Бестужевых, и через несколько лет Александр Федосеевич станет главой огромной семьи.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МИХАИЛА БЕСТУЖЕВА

«Имея сношения со многими горными чиновниками, служившими в Сибири, и любя науку во всех ее разветвлениях, отец тщательно и со знанием дела занимался собранием полной, систематически расположенной коллекции минералов нашей обширной Руси, самоцветных граненых камней, камеев, редкостей по всем частям искусств и художеств; приобретал картины наших столичных художников, эстампы граверов, модели пушек, крепостей и знаменитых архитектурных зданий, и без преувеличения можно было сказать, что дом наш был богатым музеем в миниатюре. Такова была внешняя обстановка нашего детства. Будучи вседневно окружены столь разнообразными предметами, вызывающими детское любопытство, пользуясь во всякое время беспрепятственным доступом к отцу, хотя постоянно занятому серьезными делами, но не скучающему удовлетворять наше беспокойное любопытство; слушая его толки и рассуждения с учеными, артистами или мастерами, мы невольно, бессознательно всасывали всеми порами нашего тела благотворные элементы окружающих нас стихий. Прибавьте к этому круг знакомства, не большой, но людей избранных; дружеские беседы без принуждения, где веселость сменялась дельными рассуждениями, споры без желчи; поучительные рассказы без претензий на ученость; прибавьте нежную к нам любовь родителей, их доступность и ласки без баловства и без потворства к проступкам; полная свобода действий с заветом не переступать черту запрещенного, и тогда можно будет составить некоторое понятие о последующем складе ума и сердца нашего семейства, а особенно старших членов, как более взрослых, следовательно, более умовосприимчивых.

Брат Николай был первенец, следовательно — любимое детище родителей. «Но эта горячая любовь, — говорил мне брат Николай,— не ослепила отца до той степени, чтоб повредить мне баловством и потворством: в отце я увидел друга, но друга строго поверяющего мои поступки. Я и теперь не могу дать себе полного отчета, какими путями он довел меня до таких близких отношений. Я чувствовал себя под властию любви, уважения к отцу, без страха, без боязни непокорности, с полною свободою в мыслях и действиях, и вместе с тем под обаянием такой непреклонной логики здравого смысла, столь положительно точной, как военная команда, так что если бы отец скомандовал мне: направо,— я бы не простил себе, если бы ошибся на полдюйма.

Доказательством всесильного влияния этой дружбы на меня был следующий случай. Приязненные связи отца к властям Морского корпуса давали мне случай пользоваться их снисхождением, так что мало-помалу я сделался первостатейным ленивцем. Долго это скрывалось от бдительного его надзора, наконец, скрывать долее уже было невозможно: он все узнал. Вместо упреков и наказаний он мне просто сказал: ты недостоин моей дружбы, я от тебя отступлюсь — живи сам собой, как знаешь. Эти простые слова, сказанные без гнева, спокойно, но твердо, так на меня подействовали, что я совсем переродился; стал во всех классах первым, вышел по экзаменам первым, и, дело небывалое, не в пример другим, назначен корпусным офицером с правом преподавать уроки по трем предметам...»

Около сорока будущих декабристов в разные годы слушали лекции в Московском университете: Никита Муравьев, Сергей Трубецкой, Иван Якушкин, Петр Каховский...

ИЗ ОТВЕТОВ НА СЛЕДСТВИИ ПЕТРА КАХОВСКОГО

«Где воспитывались вы? Если в публичном заведении, то в каком именно, а ежели у родителей или родственников, то кто были ваши учители и наставники?

В каких предметах старались вы наиболее усовершенствоваться?

Не слушали ль сверх того особых лекций? в каких науках, когда, у кого и где именно? объяснив в обоих последних случаях, чьим курсом руководствовались вы в изучении сих наук?

С которого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, т. е. от сообщества ли или внушений других, или от чтения книг, или сочинений в рукописях и каких именно? кто способствовал укоренению в вас сих мыслей?

Воспитывался в Московском Университетском Пансионе.

Занимался более науками Политическими.

Особых лекций ни у кого не слушал.

Мысли формируются с летами; определительно я не могу сказать, когда понятия мои развернулись. С детства изучая историю Греков и Римлян, я был воспламенен Героями древности. Недавние перевороты в правлениях Европы сильно на меня действовали. Наконец чтение всего того, что было известным в свете, по части Политической,— дало наклонность мыслям моим. Будучи в 1823 и 1824 годах за границею, я имел много способов читать и учиться: уединение, наблюдения и книги были мои учители».

7 мая 1808 года Николай Тургенев записал в своем студенческом дневнике о лекции профессора Л. А. Цветаева: «Цветаев говорил о преступлениях разного рода и между прочим сказал, что нигде в иных случаях не оказывают более презрения к простому народу, как у нас в России. (Хотя мне и больно, очень больно было слушать это, однако должно согласиться, что бедные простолюдимы нигде так не притесняемы, как у нас.) Цветаев приводил в пример, что многие молокососы (так говорил он), скачущие в каретах, позволяют (приказывают даже, прибавляю я) своим форейторам бить (ненаказанно; говорит Цветаев) бедных простолюдимов на улицах, несмотря на то, что полицейские чиновники стоят сами на улицах».

Один из современников запомнил и описал диспут в Московском университете на тему «Монархическое правление есть самое превосходное из всех других правлений». Вольнодумцы во главе с будущим декабристом С. Семеновым «открыли сражение восторженными речами за греческие республики и за величие свободного Рима до порабощения его Юлием Кесарем и Августом». Руководитель диспута пытался унять сторонников республики: «Господа, вы выставляете нам, как пример, римскую республику; вы забываете, что она не один раз учреждала диктаторство».

«Медицина часто прибегает к кровопусканиям,— отвечал ему Семенов,— и еще чаще к лечению рвотным, из этого нисколько не следует, чтобы людей здоровых, а в массе без сомнения здоровых более, чем больных, необходимо нужно было подвергать постоянному кровопусканию или употреблению рвотного».

И тогда поверженный сторонник монархии прибегает к недозволенному приему: «На такие возражения всего бы лучше мог отвечать московский обер-полицмейстер, но как университету приглашать его сюда было бы неприлично, то я, как декан, закрываю диспут...»

Другим «декабристским очагом» было училище колонновожатых[1], основанное генералом Николаем Муравьевым (отцом будущих декабристов Александра и Михаила), разносторонне образованным человеком передовых взглядов. Из него вышло 24 декабриста: Николай Крюков, братья Бобрищевы-Пушкины, Николай Басаргин, Артамон Муравьев и другие. Училище прежде всего приобщало учеников к научным занятиям и широкому кругу чтения, культивировало чувства товарищества, равенства. «Между нами самими,— вспоминал Басаргин,— богатство и знатность не имели особенного весу и никто не обращал внимания на эти прибавочные к личности преимущества».

Увлечение идеей всеобщего равенства приводит молодых людей к «Юношескому собратству». Его возглавил шестнадцатилетний прапорщик Николай Муравьев (третий сын генерала Н. Н. Муравьева). Через много лет он вспомнит об этом.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НИКОЛАЯ МУРАВЬЕВА

«Как водится в молодые лета, мы судили о многом, и я, не ставя преграды воображению своему, возбужденному чтением «Общественного договора» Руссо, мысленно начертывал себе всякие предположения в будущем. Думал и выдумал следующее: удалиться через пять лет на какой-нибудь остров, населенный дикими, взять с собой надежных товарищей, образовать жителей острова и составить новую республику, для чего товарищи мои обязывались быть мне помощниками. Сочинив и изложив на бумагу законы, я уговорил следовать со мною Артамона Муравьева, Матвея Муравьева-Апостола и двух Перовских, Льва и Василия, которые тогда определились колонновожатыми; в собрании их я прочитал законы, которые им понравились. Затем были учреждены настоящие собрания и введены условные знаки для узнавания друг друга при встрече. Положено было взяться правою рукою за шею и топнуть ногой; потом, пожав товарищу руку, подавить ему ладонь средним пальцем и взаимно произнести друг другу на ухо слово «чока». Меня избрали президентом общества, хотели сделать складчину, дабы нанять и убрать особую комнату по нашему новому обычаю; но денег на то ни у кого не оказалось. Одежда назначена была самая простая и удобная: синие шаровары, куртка и пояс с кинжалом, на груди две параллельные линии из меди в знак равенства; но и тут ни у кого денег не оказалось, посему собирались к одному из нас в мундирных сюртуках. На собраниях читались записки, составляемые каждым из членов для усовершенствования законов товарищества, которые по обсуждении утверждались всеми. Между прочим, постановили, чтобы каждый из членов научился какому-нибудь ремеслу, за исключением меня, по причине возложенной на меня обязанности учредить воинскую часть и защищать владение наше против нападения соседей. Артамону назначено быть лекарем, Матвею — столяром. Вступивший к нам юнкер конной гвардии Сенявин должен был заняться флотом.

Мы еще положили всем носить на шее тесемку с пятью узлами, из коих развязывать ежегодно по одному. В день первого собрания, при развязывании последнего узла, мы должны были ехать на остров Чоку, лежащий подле Японии[1], рекомендованный нам Сенявиным и Перовским-старшим. В то время проект наш никому не казался диким, и все занимались им как бы делом, в коем однако же условные знаки и одеяния всего более обращали на себя внимание. Не так быстро подвигалось составление общими силами устава общества, которого набралось не более трех писанных листов. Всем членам назначены были печати с изображением звания и ремесла каждого; но опять ни у кого денег не доставало, чтобы вырезать сии печати, на собраниях же каждый назывался своим именем, читанным наоборот с конца».

Между тем время шло. В ту пору, как младшие из будущих заговорщиков еще играли и учились, старшие уже испытывались огнем.

18-летний Михаил Лунин проходит сквозь все главные сражения первой кампании против Наполеона, и под Аустерлицем на его руках умирает младший брат. В эти же дни 17-летний подпоручик Михаил Фонвизин (племянник автора «Недоросля») усердно читает Монтескье, Руссо и других авторов, «из которых получает свободный образ мыслей».

В Москву около 1810 года съезжается, как шутили тогда, целый «Муравейник», разные представители старинного рода Муравьевых. Дети генерала Муравьева Александр, Николай, Михаил и представитель другой ветви Муравьевых — веселый, тщеславный Артамон Захарович уже готовятся в военную службу; их юный родственник Никита поражает всех своими удивительными познаниями в языках, древней истории.

Однажды мать на балу посоветовала ему танцевать. «Матушка,— спросил Никита,— разве Аристид и Катон[2] танцевали?» «Надо думать,— ответила мать,— танцевали в твоем возрасте». Никита тотчас послушался...

Московский «Муравейник» танцует, читает, спорит, размышляет. В это же время съезжаются в Петербург первые лицеисты, среди них Пушкин, Пущин, Кюхельбекер, Дельвиг.

Так проходила их юность.

Впереди — «гроза» двенадцатого года.
Впереди почти 10 лет подготовки.
Впереди короткие часы восстания.
Впереди десятилетия каторги и ссылки.
Впереди — вечная, благодарная память потомков.

[1] Школа для обучения молодых офицеров.

[1] Иначе Сахалин (прим. Н. Муравьева).
[2] Аристид — борец за свободу Древней Греции. Катон — знаменитый республиканец Древнего Рима.

Два года назад Спорткомитет СССР принял очень хорошее постановление о развитии горнолыжного спорта в стране. Но практически за это время ничего не изменилось. По-прежнему отсутствуют настоящие горнолыжные стадионы (трассы), где могли бы развиваться и горнолыжный спорт и массовый горнолыжный туризм.

Вы видели, кстати, что творится в Москве каждое воскресенье на склоне Ленинских гор? Всюду, где просматривается хоть кусочек обнаженного склона, катаются люди. Один-единственный подъемник оккупировала горнолыжная секция МГУ, а сотни людей на собственных ногах «лесенкой», «елочкой» карабкаются вверх и тут же спускаются вниз, блистая нехитрой техникой и абсолютной нетребовательностью к качеству ободранного и обледенелого склона. Никто не приглашает сюда этих людей, нет ни афиш, ни зазывных объявлений. Заметьте, на этот склон пока не затрачено ни копейки государственных средств, а пользы и радости он уже принес людям немало. Так неужели подобные склоны нельзя как следует оборудовать? Изобретательные японцы в самом центре Токио поставили друг на друга два самолетных ангара и превратили их в круглогодично действующий горнолыжный манеж с искусственным снежным покрытием... Мы же не удосуживаемся по-настоящему использовать то, что дает нам сама природа.

А наша природа щедра на «малые горы». Классическим краем горнолыжного спорта может стать, например, Валдай. Да мало ли их разбросано по России, Белоруссии, Прибалтике — небольших холмов и оврагов, которые зимой легко превратить в небольшие горнолыжные стадионы! Надо только подвести электроэнергию, расчистить трассы, поставить несколько недорогих подъемников... Мы, москвичи, во всяком случае, надеемся, что Крылатское, Турист и Ленинские горы уже в ближайшее время приобретут наконец подобный облик.

«Лыжи, быть может, не являются счастьем, но вполне могут заменить его». Этот афоризм известного французского горнолыжника Мишеля Кларе вспоминаешь, встречаясь с Алексеем Александровичем Малеиновым. Он увлекся горными лыжами еще мальчишкой, в 20-е годы, учился кататься в Москве на Воробьевых горах. И вот мы стоим на склоне Чегета, и Малеинов вспоминает:

— Мы спускались и прыгали с трамплинов черт те на чем и поддерживали равновесие с помощью обычной длинной палки. Представляешь? Поворачивали так: тормознешь этой дубиной слева — едешь влево, наляжешь на нее справа — едешь вправо... Уважали лыжников, которые владели поворотом «телемарк». Шикарный был поворот! Делали его, смотри, так: присядешь на пятку на одной лыже, вторую выдвинешь вперед, как весло...

Он изгибается в немыслимой позе, проезжает по дуге метров двадцать, потом делает несколько стремительных «швунгов» и останавливается, озорно поглядывая на меня снизу: вот, мол, как было, а вот как теперь стало. Его коричневое в рыжую крапинку лицо с белыми полосками выгоревших бровей и ресниц светится неподдельным азартом. На лыжах шестидесятилетний Малеинов все еще выглядит юнцом.

В тот день иностранные тренеры, которые присутствовали на здешних соревнованиях, захотели подняться на Эльбрус, покататься на его снежных полях, а канатная дорога, как назло, не работала. Малеинов, который пообещал их спустить с Эльбруса, сказал мне:

— Знаешь Назира, бригадира подрывников? Попрошу, пожалуй, его, пусть забросит хоть до сто пятого пикета на своем драндулете...

— А меня с собой возьмете?

— Пожалуйста.

«Драндулет» Назира Беккаева оказался тяжелым артиллерийским тягачом, списанным из армии. Грохоча гусеницами по каменному серпантину, он пологими дугами поднимал нас все выше и выше над Терсколом, но вдруг поднялся на дыбы, уперся тупым рылом в каменный склон и полез прямехонько вверх...

Иностранные гости, до той поры весело болтавшие в кузове, присели на корточки и вцепились в железные борта машины. Машина вибрировала от напряжения и, высекая каскады искр, карабкалась все выше. В какой-то момент мне показалось, что сейчас мы перевернемся, но вот крутизна стала уменьшаться, и мы благополучно выехали наконец на верхний виток серпантина.

— Ну как, живы? — ухмыльнулся, высунувшись из машины, Назир.— На дороге завал оказался, пришлось немного спрямить...

Мы еще долго крутились по заоблачной дороге и, наконец, в «Приюте одиннадцати», гостинице на высоте 4200 метров, укрылись от внезапной пурги. Заночевали, а следующим утром, прекрасным солнечным утром, надели лыжи, тщательно проверили крепления, но прежде чем начать спуск, Малеинов сделал широкий жест от горизонта к горизонту и сказал гостям:

— Тут вы в самом центре нашего лыжного царства: десятки километров спусков — езжай куда хочешь. Чегет мы освоили, теперь очередь за Эльбрусом. Закончим станцию «Мир», сможем круглый год поднимать горнолыжников на снежные поля Эльбруса. Вон там, на леднике Карабаши, поставим еще канатку, и милости просим хоть всю Европу в гости. Вон, видите, внизу станция «Кругозор»? От нее отличные спуски к перевалу Хотю-Тау. Оседлаем канатками этот перевал, а оттуда прямо на лыжах можно в Домбай ехать. Представляете? Непрерывный уклон добрых два десятка километров. Таких трасс и маршрутов, как здесь, нигде в мире нет...

Он указывал лыжной палкой на хребты и перевалы, словно водил по карте указкой.

Так ты уже встал на горные лыжи, читатель? И ощутил гипноз горы? Тогда потренируйся годик-другой в каком-нибудь Парамоновом овраге, а там, глядишь, и на Эльбрусе появятся для тебя трассы.

P. S. В последний момент из Главспортснаба нам сообщили, что в ФРГ закуплена поточная линия для производства 100 тысяч пар пластмассовых горных лыж в год, которая будет установлена на Мукачевской лыжной фабрике.

●



А. КАРАСОВ

история девушки, купленной на восточном базаре

Это случилось давно, когда в Средней Азии еще шла борьба с басмачами. Кавалерийская часть, в которой я служил, преследовала до самой границы довольно большой отряд басмачей, и в конце концов, спасаясь от окончательного разгрома, они укрылись в контролируемой англичанами нейтральной зоне.

Командиру разведывательного эскадрона Николаю Завьялову, военному переводчику Рустаму Кильдишеву и мне было поручено проникнуть в нейтральную зону и через наших друзей собрать сведения о связях басмачей с англичанами и намерениях отступившего с нашей территории отряда.

Обстановка для нас сложилась благоприятная. Граница тогда почти не охранялась, и мы без особых осложнений перебрались в нейтральную зону, установили контакт с «нашими людьми» и добыли необходимые сведения. Перед возвращением в свою часть мы решили заглянуть на местный базар, где продавались целые отары овец и табуны лошадей, угоняемые в те времена бандитами с советской территории. Этот базар был также центром торговли наркотиками и контрабанды их в наши среднеазиатские республики. Кроме того, сюда стекались самые свежие и самые разнообразные новости, а англичанами здесь распространялись (в том числе и рассчитанные на наши среднеазиатские республики) выгодные для них слухи.

Восточные базары, как правило, на европейцев производят незабываемое впечатление. Ослепляют краски, оглушает блеяние овец, пронзительные крики ишаков, ржание лошадей, скрип телег, крикливая, гортанная восточная речь продавцов, зазывающих покупателей. А надо всем этим плывут раздражающие и щекочущие пряные запахи восточных кушаний, изготовляемых прямо здесь, на открытом воздухе.

Рисунок Е. ЛЕХТА.

Попав сюда, не зевай — здесь теряться нельзя! Наш командир вел нас по базару, как завсегдатай. Удивительная у него была способность — свободно ориентироваться в любой обстановке и уметь всюду держаться, как дома.

Обойдя весь базар, заглянув в чайханы и курильни, наслушавшись новостей, мы вышли на небольшую площадь — место, где обычно продавали лошадей, коров, коз и овец. Здесь наше внимание привлекла толпа, окружившая деревянный помост около глиняного забора, которым была огорожена площадь. На помосте стояли два мальчика-подростка и три девушки. Одна из них, самая юная, несмотря на свои жалкие лохмотья, была необычайно красива. Расспросив людей, мы узнали, что эти пятеро, понуро стоящие на возвышении,— живой товар. Женщина-афганка из местного селения, которая не в состоянии прокормить своих двух сыновей-подростков, отдает их внаем, а трех дочерей крестьянина-перса без приданого никто не берет замуж. Ему даже не удалось отдать их внаем. И вот бедный отец вынужден просто-напросто продать их.

На мальчиков никто не обращал внимания, а за девушек, которых, как животных, осматривали и ощупывали, бойко торговались с их отцом несколько человек. Собравшаяся толпа с интересом наблюдала за этой дикой торговлей.

Мы были ошеломлены, и, пока приходили в себя, отец продал двух старших дочерей, а за младшую, поистине восточную красавицу, все еще шел оживленный торг. Особенно горячился какой-то заплывший жиром пожилой перс с огромным животом, с отвратительным лицом, на котором выделялись необычайно близко посаженные глаза и крючковатый нос. Он то и дело подбегал к девушке, дергал ее за руки, вертел, как куклу, и что-то кричал отцу и своим соперникам. Из глаз девушки лились слезы.

Вдруг наш командир сказал, что он не может позволить, чтобы эту девушку кто-то купил, что мы должны взять ее с собой в Советский Союз и он женится на ней! Не успели мы с Рустамом опомниться, как он уже пробился к помосту, минут пять растолковывал что-то отцу девушки, потом отдал ему, не считая, пачку денег, схватил девушку за руку и бросился с нею в толпу. Мы двинулись навстречу, расчищая им путь. Наняв извозчика, через полчаса мы уже были далеко от базара.

В дороге мы не обменялись ни словом. Наконец, приехали, устроили девушку в комнате и вышли во двор. Там мы высказали командиру все, что думали о случившемся. Мы с Рустамом доказывали ему, что он совершил необдуманный и непростительный поступок и как член партии и как наш командир, что он поставил нашу разведгруппу в тяжелое положение. Одно дело — самим перейти обратно границу, другое — с женщиной, совершенно нам неизвестной, да еще нужно выяснить, как она к этому отнесется и как себя поведет. Мы пытались объяснить ему, что, хотя она теперь считает себя его «собственностью» и, по-видимому, будет ему послушна, это еще не дает нам права везти ее в Советский Союз. Мало того, что девушку купили, и купили без ее согласия, но, кроме ее согласия, необходимо (и это главное) разрешение нашего командования, не говоря уже о разрешении соответствующих органов Советской власти. Мы настаивали на том, чтобы вернуть ее отцу и помочь ей всем, чем мы сможем, но наш Коля ничего не хотел слушать... Ему было двадцать четыре года, он был нашим другом и верным боевым товарищем. Понимая, чем это ему грозит, мы пытались всячески его переубедить, но он остался непреклонным. Единственное, что он пообещал,— это связаться с командованием и обо всем доложить. Теперь нам предстояло разузнать, как девушка (мы даже не знали ее имени) относится к случившемуся и не хочет ли вернуться к отцу.

Придя в дом, мы начали ее расспрашивать, и тут выяснилось, что она говорит на каком-то редком диалекте фарси. И, хотя Рустам отлично знал фарси, мы почти не понимали ее. С большим трудом подбирая слова, все же выяснили, что ее зовут Заримой, что ее мать умерла и ее вместе с остальными сестрами и братом вырастил отец. Жили они очень бедно, часто голодали, поэтому отец решил их продать, оставив себе только сына, так как тот вскоре станет его помощником. Она не осуждала отца. Оказывается, продажа родителями своих детей в их округе была обычным делом. Найти работу даже мужчине у них было очень трудно, а девушке где-то устроиться совершенно невозможно. Выйти замуж тоже было трудно; бедных девушек, без приданого в жены никто не берет. Когда мы спросили Зариму, не хочет ли она вернуться к отцу, она категорически отказалась и заявила, что если она возвратится, то отец ее все равно продаст этому «страшному мужчине», который так свирепо за нее торговался. Тут же призналась, что ей у нас нравится и она хочет остаться здесь. Мы ей осторожно объяснили, что мы не из этих мест, но она заявила, что готова следовать с нами куда угодно и будет послушна своему господину, и низко поклонилась нашему Николаю, давая ему понять, что она его «раба». Коля даже скрипнул зубами от этого...

Все несколько прояснилось, но она была полураздета, боса, а нам предстояла трудная дорога. Николай остался, чтобы ее накормить (девушка все время поглядывала, глотая слюну, на остатки еды на столе) и связаться с командованием, а мы с Рустамом отправились в магазины, чтобы купить все необходимое для нее в пути.

Со всем этим мы управились только к вечеру. Ни о каком отъезде в этот день не могло быть и речи. Но мы были довольны. Командование разрешило взять Зариму в Советский Союз. Она отдохнула, и настроение у нее было хорошее, а когда наша хозяйка вымыла и одела ее во все новое, она так развеселилась, что мы, глядя на нее, почувствовали себя счастливыми.

Возвращение домой сложилось удачно. Наша спутница чувствовала себя прекрасно и совсем не грустила. Правда, она быстро натерла себе ботинками ноги — не привыкла ходить в обуви — и почти весь путь прошла босиком.

Мы пересекли границу и на очередном привале объяснили ей, что теперь она в Советском Союзе, не забыв, конечно, сказать, кто мы на самом деле. Девушка на это никак не прореагировала. Мы поняли, что она никакого понятия не имеет о том, что существуют разные страны, а о Советском Союзе, по-видимому, никогда и не слышала. Все ее внимание было сосредоточено на новом «хозяине». Она очень настороженно следила за каждым его движением и старалась всячески ему угодить. На каменистых тропинках Зарима совсем разбила свои босые ноги, и ей было трудно идти. Николай иногда брал ее на руки и нес, как ребенка. Она совсем не смущалась, обнимала его за шею и приникала к нему.

Совместное путешествие сблизило нас с нею. Николай называл ее Зорей, а то и Зорькой, и это данное им имя осталось у нее на всю жизнь.

Возвратившись в часть, мы с головой окунулись в повседневную армейскую жизнь. Каждый день с подъема до отбоя мы были заняты. Вместе с нами дневал и ночевал в эскадроне и наш командир Коля

Завьялов. После долгих объяснений с командованием и парторганизацией он уладил всю эту историю и женился на Зариме, однако семейная жизнь у них налаживалась с трудом.

Зарима привнесла в их взаимоотношения все накопленные веками и привитые воспитанием предрассудки, свойственные восточной женщине. Жена-рабыня — иных взаимоотношений с мужем она не представляла. Каждое утро, когда он просыпался, она уже сидела у постели с кувшином воды, чтобы сделать ему «омовение» лица, рук и ног. Когда бы он ни вернулся домой, она ждала его, не ложась спать, и обязательно обмывала ему ноги перед сном. Все его протесты только обижали ее.

Очень сложно решался вопрос с питанием. В командирскую столовую она ходить отказалась и просила, чтобы он ел дома, готовить же не умела. Чтобы ее не обижать, Николай был вынужден терпеливо есть приготовленную ею еду. Она не садилась вместе с ним за стол, говоря, что поест потом. Все его попытки заставить ее есть вместе с ним были безрезультатны. Иногда по утрам, торопясь в часть, он уходил без завтрака, да и днем не всегда успевал прийти домой пообедать. Зарима это тяжело переживала, сердилась, плакала. Она худела и с каждым днем выглядела все печальнее.

Николай терзался, не зная, что ему делать, и наконец попросил меня и Рустама поговорить с Заримой в его отсутствие. Она радостно встретила нас, но, когда мы попытались выяснить, что с нею происходит, как-то сразу замкнулась. Мы спросили, не больна ли она и не можем ли мы чем-нибудь помочь ей. Сквозь слезы она сказала, что здорова, но несчастна... Николай ее не любит, и она скоро умрет с горя, поэтому мы ей помочь не можем, но она просит ее не забывать, ведь у нее, кроме нас, никого здесь нет. Все наши попытки убедить Зариму, что Николай любит ее и очень страдает, ни к чему не привели. Встревоженные, мы решили посоветоваться с нашим комиссаром.

Комиссаром части у нас был старый большевик, в период царизма долгое время находившийся в эмиграции в Иране, где работал на нефтепромыслах. Он хорошо знал обычаи и нравы народов Среднего Востока. В части он пользовался большой любовью и доверием. Его авторитет был для нас непререкаем.

Оставалось только уговорить Николая пойти к комиссару. Как командир он всегда очень заботился о своих подчиненных и старался никогда не давать их в обиду. Решительный, настойчивый, не боявшийся высказывать свои мысли в присутствии любого начальства, он был исключительно застенчив, когда дело касалось его личных интересов. Он мог о чем угодно просить, когда речь шла о его подчиненных или товарищах по службе, но попросить сам за себя был не в состоянии. К комиссару он согласился идти и рассказать ему обо всем только в нашем присутствии.

В тот же день комиссар принял нас, и Николай подробно рассказал ему о том, как у него складываются отношения с женой. Когда, волнуясь, Николай смолкал, мы с Рустамом всячески дополняли описание создавшейся ситуации. По ходу нашего рассказа комиссар задавал вопросы, до мельчайших подробностей выясняя положение. Когда мы выложили все, он посмотрел на нас, как на маленьких детей, и улыбнулся:

— Вы же владеете, кажется, восточными языками, работаете на Востоке, так почему же так плохо знаете особенности этого Востока? Вот ты, Николай, уже месяц моришь свою жену голодом. Из вашего рассказа ясно, что она воспитана в самых строгих правилах мусульманской религии. На Востоке, по канонам ислама, жене нельзя есть вместе с мужем. Она должна ухаживать за мужем во время еды, и только тогда, когда он поест, она может съесть то, что осталось. Если муж любит свою жену, он самую лучшую часть обеда и особенно лакомства оставит любимой жене. А ты сам говоришь, что старался съедать все... Она явно голодает и, если так будет продолжаться, умрет от голода и горя, решив, что ты ее не любишь. Дорогой мой, уж если ты умудрился привезти себе такую жену и любишь ее, то ты был обязан сам знать все то, что я тебе сказал, и быть к ней более внимательным... Ты ведь в ее глазах выглядишь хуже любого восточного деспота. И почему она у тебя никуда не ходит, ни с кем не общается, сидит целыми днями дома одна? Муж каждый день рано уходит и поздно приходит, всегда где-то и чем-то занят и почти не оставляет жене пищи... Ты понимаешь, что она может о тебе думать?

Наша беседа с комиссаром продолжалась около трех часов. Вышли мы от него пристыженные, а Николай всю дорогу повторял: «Какой же я дурак, как же я не мог до этого сам додуматься!»

Вскоре по просьбе комиссара жены наших командиров взяли шефство над Заримой. Одна из женщин начала учить ее грамоте и русскому языку. Другие вовлекали ее в общественную работу, приглашали в свои семьи. Сначала она дичилась, но постепенно привыкла, а потом и подружилась со многими, приобретая понемногу уверенность в себе. Наблюдая взаимоотношения между мужем и женой в других семьях командиров, она постепенно начала отвыкать от внушенных ей с детства предрассудков. Ее отношения с Николаем стали изменяться. Когда он начинал ей что-нибудь объяснять, она слушала его внимательно, не обижаясь, старалась делать так, как он советовал. Очень прилежно училась грамоте и русскому языку. Научившись читать и писать, увлеклась чтением.

Года через полтора она уже почти свободно говорила по-русски, хотя словарный запас у нее еще был ограничен. Знания же ее были на уровне начальной школы. Это был взрослый ребенок. Зарима часто спрашивала о таких вещах, которые у нас известны даже детям. Николай устроил ее в школу рабочей молодежи. Их семейные отношения наладились, они были счастливы, она снова расцвела и похорошела. Одеваться стала, как все жены командиров. Отказалась совсем от темных платьев и платков, которыми первое время стремилась прикрывать лицо.

Через некоторое время наша часть была переброшена из Средней Азии на Северный Кавказ, где активизировались антисоветские элементы. И там в одной из боевых операций погиб наш командир эскадрона Николай Завьялов.

Семьи командиров нашей части остались в Средней Азии. Мы договорились с командованием и вызвали Зариму на похороны Николая. Трудной тогда была эта дорога, и Зарима приехала только на шестой день, когда Николая уже похоронили. Мы повели ее на могилу мужа. Как она переживала его смерть!.. Но это была уже не беспомощная девочка-дикарка, а зрелая, разумная женщина, здраво оценивающая свое положение. Она сказала, что Николай очень хотел, чтобы она училась, и она выполнит это его завещание. Мы посоветовали Зариме, окончив семилетку, поступить на рабфак при Институте народов Востока в Ташкенте и дали ей туда рекомендацию от командования.

Через несколько лет она написала мне, что поступила на рабфак. Но затем наша переписка прервалась. Сначала я находился в длительной командировке. Затем началась Великая Отечественная война, а после — снова одна за другой командировки. Я поте-

рял связь со своими старыми друзьями, в том числе с Заримой.

Прошло более тридцати лет, прежде чем я вновь увидел ее.

Меня поразило, как молодо она выглядит: та же стройная осанка, легкая походка и особый горделивый поворот головы, обрамленной копной по-прежнему черных вьющихся волос, и, только присмотревшись, можно было обнаружить около глаз едва заметные морщинки.

После гибели Николая она дала обет остаться верной ему и свято выполнила этот обет. Свое счастье нашла в научной, преподавательской и общественной деятельности.

После рабфака, накануне Великой Отечественной войны, поступила в Институт народов Востока. Со второго курса, в начале войны, была мобилизована в Красную Армию и служила военной переводчицей в штабе советских войск в Иране. В 1943 году вступила в Коммунистическую партию.

В 1946 году демобилизовалась, получила высшее филологическое образование, а затем закончила и аспирантуру. В 1956 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1963 году—докторскую. Сейчас она университетский профессор, заведует сектором в одном из институтов Академии наук. Ей очень нравится преподавательская работа. Принимает активное участие в работе Комитета советских женщин и Советского комитета солидарности стран Азии и Африки.

Вспоминая о своем пребывании в Иране, Зарима рассказала мне:

— В годы войны я навестила родные места, встречалась с братом и старшей сестрой и особенно глубоко поняла, чем я обязана Николаю. Все мои друзья говорят мне, что я сентиментальна, но это был такой невероятный и такой счастливый для меня случай, что Николай выкупил меня!.. Ведь этого могло и не случиться. Всем, чем я живу, чем счастлива, всем я обязана только ему... Как хорошо, что вы не побоялись тогда привезти меня в Советский Союз!

В последнее время мы часто встречаемся с Заримой, ибо я теперь тоже работаю в Академии наук. Однажды на научном конгрессе в Париже после блестящего доклада Заримы мой старый знакомый, американский профессор Дж. Уарделл, сказал мне:

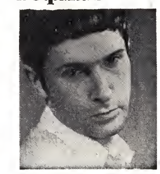
— Коллега, я часто вижу вас вместе с профессором Завьяловой. По-видимому, вы хорошие друзья. Где вы «откопали» такую очаровательную и умную женщину? Я восхищен ею.

— Профессор,— ответил я,—если я вам скажу, что в ранней молодости эта женщина была настоящей дикаркой, вы мне не поверите и скажете, что это очередная советская пропаганда. Но это так.

И мне захотелось рассказать советскому юношеству удивительную историю Заримы. Когда я попросил у нее разрешения на это, она смутилась, но потом мы сошлись на том, что я дам ей другую фамилию. Хотя, конечно, какой уж тут секрет — Зарима настолько известна в профессиональных кругах, что любому востоковеду не составит никакого труда догадаться, о ком я рассказываю.

Виктор Гофман





Ялта

О, неужели были времена,
когда по этой набережной, летом
плыла с собачкой маленькой она
под зонтиком от солнечного света.

И можно было, опершись на трость,
следить за ней, прищурившись от солнца,
и можно было дать собаке кость
и завести случайное знакомство.

Потом от скуки завязать роман,
сентиментальный и слегка безвкусный,
разъехаться по семьям и домам;
и вдруг понять смысл этой жизни грустной.

Что нет, не похоть суть сближенья двух,
а чудо за соломинку держаться
и осязать носимый миром дух,
в порыве слабом жаждущий прижаться.

Гектор

Жену находит и целует,
и сына на руки берет,
и гибель знает наперед,
и он скорбит: его волнует
безрадостный конец войны
и плен супруги недостойный...

Но как лицо его спокойно!
Как все черты озарены
суровым, ясным светом свыше!..
«Дай сыну стать отца превыше»,—
он гордо просит небосвод
и твердо к гибели идет...

И той же истиной безумной
Озарено его чело:
Все предреченное — разумно.
И все разумное — светло!



ОПАСНАЯ ГАЗЕТА

Изучая в Ленинградском Государственном историческом архиве материалы по истории Бестужевских курсов, я обратил внимание на один любопытный документ. Непосредственно к теме моих изысканий он не относился, но представлял несомненный интерес, и особенно сейчас, когда отмечается 75-я годовщина со дня выхода в свет первого номера ленинской «Искры». Этот документ я привожу здесь почти целиком:

«Донесение директора Петербургского 3-го реального училища фон Гефтмана попечителю учебного округа.

9 августа 1902 г.

В Женеве, Цюрихе и Берлине продается публично газета «Искра» самого возмутительного содержания. Француз — продавец этой газеты сообщил мне, что «эту газету очень охотно покупают русские учащиеся...».

Было бы весьма желательным, чтобы наши учащиеся не могли покупать за границею газету, чтение которой, без всякого сомнения, может оказать весьма вредное влияние на наших гимназистов и реалистов... Я нарочно купил два экземпляра этой газеты, которые я имею честь при сем препроводить к Вашему превосходительству для представления Министру. Мне казалось, что нашему правительству для блага наших учащихся следовало бы войти в сношение с заграничными правительствами о безусловном воспрещении печатания такой зловредной газеты. Во всяком случае, следовало бы от всякого родителя, отправляющегося со своим сыном-гимназистом или реалистом за границу, потребовать письменное обязательство в том, что сын не будет читать никаких антиправительственных, сеющих смуту в умах учащихся, газет и книг; в противном случае, если это обнаружится каким бы то ни было образом, то он будет тотчас уволен без права поступления в какое бы то ни было учебное заведение...

При сем имею честь приложить № 21 и № 22 газеты «Искра».

...А теперь представим себе подростка, который в июне 1902 года взял в руки свежий (21-й) номер «Искры». Конечно же, прежде всего он обратил внимание на слова, набранные слева от названия газеты: «Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия».

«...Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия ставит своей ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия и замену его республикой на основе демократической конституции...»,— прочитал он в проекте программы РСДРП, напечатанной на первой странице. Всеобщее и равное избирательное право. Никаких сословий,— полное равноправие граждан, независимо от пола, религии и расы. Право наций на самоопределение. Восьмичасовой рабочий день. Свобода совести, слова, печати, собраний, стачек, союзов... Свобода! А пока?..

И, развернув газету, он на второй и последующих страницах прочитал сообщения о протестах рабочих и крестьян против тяжелейших условий жизни, против гнета, насилия, лишения их элементарных демократических свобод. Несомненно, внимание парнишки привлекло сообщение о первомайской демонстрации в Сормове и разгоне ее царскими солдатами; его не могло не восхитить мужество знаменосца: несмотря на удары прикладами винтовок, он не выпустил из рук красное знамя, на котором было написано: «Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода!» (как вскоре стало известно, этим знаменосцем был рабочий Петр Заломов, ставший прообразом героя романа М. Горького «Мать» Павла Власова).

На другой странице юный читатель мог прочесть сообщения о жестокости карателей, которые в деревнях, охваченных крестьянскими волнениями, секут всех поголовно... «и мужиков, и стариков, детей и девушек... Некоторых засекли до смерти».

Предположим также, что в руки тому же подростку попал и упомянутый в донесении фон Гефтмана 22-й номер «Искры». Что он узнал из него? В передовой статье «Русский рабочий класс и полицейские розги» он прочитал, что пролетарии поняли истину: «первым крупным шагом к освобождению русского рабочего класса от его многочисленных бедствий должно быть **низвержение царизма**».

И снова, как в предыдущем номере «Искры», сообщения о рабочих и крестьянских волнениях, о зверской расправе царских властей с забастовщиками и демонстрантами. «Жизнь человеческая не ценится...»,— эти страшные слова прочитал наш подросток в письме о трагическом положении сосланных в Сибирь студентов и курсисток. А на другой странице — резолюции трудящихся Германии и Швейцарии с выражением гневного протеста против «бесстыдного варварства» царского правительства.

Даже если в руки учащихся попали только те два номера «Искры», о которых идет речь, они узнали о положении в стране многое такое, о чем раньше не ведали. Они поняли, что есть силы, готовые бороться за свободу народа до победного конца, и что есть боевой печатный орган, организующий и сплачивающий эти силы. И кто знает, может быть, именно под влиянием «Искры» многие из них определили свой жизненный путь.

«Из искры возгорится пламя». Вновь и вновь мысль возвращается к эпиграфу, когда читаешь эту газету. Из ленинской искры возгорелось такое революционное пламя, в котором дотла сгорели и самодержавие и весь буржуазно-помещичий строй России.

И. БРАЙНИН

В НОМЕРЕ 12 1975

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Е. ЛЕХТ, М. ЛИСОГОРСКИЙ, А. МАКАРОВ, И. МАКАРОВ. Е. МЕДВЕДЕВ, Б. НЕМЕНСКИЙ, И. ОБРОСОВ, И. ОФФЕНГЕНДЕН, В. ПЕСКОВ, В. ПЕТРОВ, М. ПИНКИСЕВИЧ, П. ПИНКИСЕВИЧ, А. ПОВАРИХИН, Г. ПОНДОПУЛО, Г. РУХКЯН, А. СИТНИКОВ. И. СУСЛОВ, В. ТЕРЕЩЕНКО, М. ТИШИНА, И. ТКАЧЕНКО, А. ТОКАРЕВ, В. ТРУБКОВИЧ, И. УРМАНЧЕ, М. ФЕДОРОВ, И. ХОХЛОВ, Ю. ЦИШЕВСКИЙ, Г. ЧЕРЕМУШКИН, А. ЧЕРНОВ, М. ЧЮРЛЁНИС, А. ШТОРХ, В. ШУЛЬЖЕНКО.

Авторы произведений, репродуцированных на обложках

Ш. БЕДОЕВ, А. и Н. БОДУНОВЫ,